

Рене Домаль

ГОРА АНАЛОГ

Rene Daumal "LE MONT ANALOGUE"

Перевод с французского Татьяны Ворсановой

OCR: Areg Tadevosyan

Содержание

Ю.Стефанов Волшебная гора Рене Домалья	3
Предисловие французского издателя 34 гора аналог	20
Глава первая, ОНА ЖЕ ГЛАВА ВСТРЕЧИ	22
Глава вторая, ОНА ЖЕ ГЛАВА ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ	42
Глава третья, ОНА ЖЕ ГЛАВА, РАССКАЗЫВАЮЩАЯ О ПУТЕШЕСТВИИ	59
Глава четвертая, В КОТОРОЙ МЫ ПРИБЫВАЕМ НА МЕСТО И ПРОБЛЕМА ДЕНЕГ ПРЕДСТАЕТ ВО ВСЕЙ СВОЕЙ КОНКРЕТНОСТИ	74
Глава пятая	92
Примечания французского издателя	101
Вера Домаль послесловие	111

ВОЛШЕБНАЯ ГОРА РЕНЕ ДОМАЛЯ

Потом Булукия спросил ангела и сказал ему:

"Сотворил ли Аллах какие-нибудь горы позади горы Каф?" "Да, -- ответил ангел, -- за горой Каф -- гора величиной в пятьсот лет пути, и состоит она из снега и града. Это она отводит от мира жар геенны, и если бы не эта гора, мир, наверное, сгорел бы от жара огня геенны".

Книга тысячи и одной ночи

Лучшим, как мне кажется, вариантом предисловия к книге Рене Домалья "Гора Аналог" был бы полный текст статьи, напечатанной главным героем этого неоконченного повествования в вымышленном журнале "Ископаемые", -- статьи, в которой говорится о Горе, чья "единственная вершина касается мира вечности, а основание -- многочисленными отрогами лежит в мире смертных". Так что моя задача в данном случае может свестись к более или менее правдоподобной реконструкции этого "довольно беглого взгляда на символическое значение горы в древней мифологии", -- реконструкции, которую я могу дополнить лишь кое-какими, и тоже "довольно беглыми", заметками о трагической судьбе и духовных метаниях самого Домалья.

Быть может, именно с этого и стоит начать -- так мне будет легче подвести читателя к основанию Горы, к началу пути, "на котором человек может возвыситься до божественного, а божественное, в свою очередь, может

открыться человеку".

Короткая жизнь Рене Домалья (1908--1944) сложилась так, что ему постоянно приходилось иметь дело не только с символической Горой, но и с вполне реальными горами. Будучи альпинистом-любителем, он вместе с друзьями не раз совершал восхождения на "коровьи", доступные непрофессионалу вершины французских Альп и Пиренеев -- читатель непременно ощутит эту физическую тягу автора к высокогорью, где "сама действительность волшебнее всего, что способен вообразить себе человек". Домаль представляет себе гору не в виде инертной каменной массы с нахлобученной на нее шапкой ледника -- он видит в ней "живое существо", способное "периодически самообновляться, питаться и воспроизводить себя". С его точки зрения, гора -- это волшебный аналог человека: "в горах у каждого живого есть двойник, подобно тому как ножны есть у меча, а у ступни -- отпечаток, след, и, умирая, каждый с двойником своим соединяется". Если это и в самом деле так, Домаль наверняка "соединился" с Горой Аналог после своей кончины, последовавшей 21 мая 1944 года, -- его мало-помалу подтачивала чахотка, усугубленная юношескими "экспериментами" над собственным организмом и "упражнениями", которыми он вслед за тем опрометчиво увлекся в кружке Гурджиева.

"Эксперименты" эти, относящиеся к началу двадцатых годов, -- Домалю в ту пору едва минуло шестнадцать лет -- были, надо признаться, довольно банальными для юноши его психического строя, мятущегося, непредсказуемого и очень хрупкого, для человека крайностей, готового пожертвовать чем угодно, чтобы хоть краем глаза заглянуть в "запредельные миры". Подобные опыты ставили когда-то на самих себе любимые его авторы -- Эдгар По, Шарль Бодлер, Лотреамон, Артюр Рембо, а всего двумя десятками лет раньше Домалья ими занимался Николай Гумилев, живший в то время в Париже; итоги этих рискованных "опытов", едва не приведших поэта к самоубийству, были позднее

описаны в рассказе "Путешествие в страну эфира". Своего рода "пригласительным билетом" для путешествия по астральным мирам Домалю послужили строки из знаменитого письма Артюра Рембо Жоржу Изамбару: "Я хочу быть поэтом -- и насилую себя ради того, чтобы превратиться в ясновидца... Цель одна -- достичь неведомого путем расстройств всех своих чувств". "Я пробую, -- вторит ему Домаль, -- вдыхать пары хлористого углерода и бензина, чтобы понять, как исчезает сознание и какую власть я над ним имею". "Я хочу преодолеть границы возможного", -- продолжает он, и в известной мере это ему удается. Его письма середины 20-х годов переполнены рассказами о диковинных видениях, порожденных парами бензина, гашишем, опиумом, кокаином и прочими снадобьями подобного рода, подкрепленными, как это обычно бывает, изрядной дозой спиртного. "В ледяных подземельях огромные траурные пингвины рыдают литанию. Целое море варварской музыки колышет под их ногами легкие и жесткие трупы. Целое море трупиков заходится в рыданиях, воздвигая звуковой храм для молитвословий траурных пингвинов". "Этой ночью я очутился на маленьком островке, похожем на Мон-Сен-Мишель... Вместе с друзьями я был там в тюрьме, откуда мы взяли да и сбежали -- и поплыли к Европе... Добравшись до Парижа, я вынул из корзины зеленую палку, отливавшую то бронзой, то мрамором, согнул ее пополам и, увидев, что это была змея, бросил на землю. Она проползла несколько метров, а потом принялась порхать в воздухе -- не змея это была, а девушка с обезьянкой на веревочке".

Самый частый спутник Домалия в странствиях по "иным мирам" -- это, конечно же, его земляк Артур Рембо (оба они родились в Арденнах). "Рембо, кажется, ближе всех ко мне, -- признается Домаль. -- Мне иногда снятся долгие и молчаливые прогулки в его компании". "Однажды мы с Артюром, -- сообщает он одному из своих друзей, -- шагали по Млечному Пути. Другие не могли на нем удержаться, срывались и медленно тонули в пучине". Во многих

письмах проскальзывает намеренная или спонтанная переключка с поэтическими приемами Рембо, характерными для его лирико-мистической исповеди "Пора в ад": "Горящие львы рушатся как лавины или как надежды. Мы отличаемся от святых тем, что любим бродить по окраинам ада. Мы сами себя искушаем. Обратите внимание на жуткую мешанину образов и мыслей -- и тем не менее я ни на миг не забываю о том, что пишу. Хаос великих вздувшихся пустот, резь в желудке, у бедного ребенка кружится голова".

Нетрудно заметить, что все эти "отчеты" о посещении "астральных сфер" пронизаны, хотя и не явственно, мотивами смерти и сопутствующего ей преобразования. Рыданию "траурных пингвинов" вторят рыдания трупов (чьих?). Палка (намек на магический жезл Моисея?) превращается в змею, символ смертельной опасности, а также перерождения, метаморфозы, змея же в свою очередь оказывается девушкой -- в фольклоре многих народов смерть предстает именно в таком обличье, вспомним хотя бы "прекрасную женщину" ирландских саг, от прикосновения которой вода в реке "окрашивается кровью и сукровицей", или навеянный фольклором образ смерти из поэмы Гумилева "Дракон":

"Губы смерти нежны, и бело молодое лицо ее".

В ранних стихотворных опытах Домаля эти мотивы проступают гораздо отчетливей. "Я был любовником моей Смерти, -- пишет он. -- Уже в этой жизни я привыкаю думать о себе в смерти, думать о том, как я стану мертвецом, о том, что я и сейчас мертвец". Созданная в 1929 году и посвященная "Небытию" (в женском роде) поэма "Противонебо" странным образом напоминает тибетские тексты, описывающие обряд "чод", в процессе которого отшельник символически приносит самого себя в жертву голодным демонам, "расплачиваясь с долгами", сделанными во время предыдущих воплощений, и соединяясь с богиней Шакти -- олицетворением женского начала в нем самом и во всем мироздании. Возможно,

что ко времени написания этой поэмы юный Домаль успел познакомиться с книгой великой странницы Александры Давид-Неэль "Мистики и маги Тибета", вышедшей в том же 1929 году, но вполне допустимо, что строй мыслей и образов, отраженных в "Противонебе", был подсказан ему его собственной мистической интуицией. Вот как описывается этот обряд в книге Давид-Неэль:

"Священнодействующий трубит в канлинг, флейту, сделанную из человеческой бедренной кости, приглашая демонов на пир. Он воображает божество женского пола, олицетворяющее его собственную волю... Одним быстрым взмахом меча богиня отрубает ему голову, а затем, в то время как со всех сторон в ожидании угощения слетаются стаи вампиров, она отсекает от тела руки и ноги, сдирает с туловища кожу и вспарывает живот. Из живота вываливаются внутренности, ручьями течет кровь -- и мерзостные гости, смачно чавкая, приступают к трапезе".

А вот как эта сцена магического жертвоприношения и в то же время колдовского сущью с собственной потаенной сущью подала в поэме Домалья:

Ради тебя, кто мой костный
мозг пожирает, Ради тебя, от кого холодок
бежит по спине, Ради тебя все это опустошенье, Опустошенье в сплошной
тишине! ..Тишина -- и я в ней, хотевший криком Разрядить всю тяжкую боль,
что скопилась В крохотном твердом шаре вселенной, Я, хотевший явить
свою кровь,
Раздирая ребра ногтями, Я, искавший ликующие созвучья, Чтоб восславить
свист топора В костяхмоей правойруки... Ради славы твоей, не моей, это
кровопролитье Безмолвное. Ради тебя я готов Отречься от мира, и солнце
убить, И все на свете предать, И глаза себе выколоть. В тебе я уверен, Как в
собственной смерти, Уверен во всей очевидности

собственной ночи, Ведь она -- это тело твое из

живой тишины...

Я живьем с себя кожу сдираю, Оттого что люблю тебя, мать

обличий, Обличья лишенная! Тебя истязую, Истязая на этом прокрустовом
ложе Мой человеческий облик постыдный;

С тобой, лишенной границ и размеров, Я лежу на чудовищном брачном ложе
И хочу обернуть тебя своей кожей...

Сходство, как видим, поразительное -- и это при том, что поэт не
пытается сочинить некое "подражание тибетскому", а явным образом делится с
нами впечатлениями собственного визионерского опыта.

Жан Бьес, автор замечательной монографии о Домале, вышедшей в известной
серии "Poetes d'aujourd'hui", тоже подмечает эту тягу к смерти,
самоуничтожению, однако от его взгляда ускользает одно весьма существенное
обстоятельство. Он никак не связывает тему "древнего ужаса перед смертью" с
темой посвящения и "второго рождения", хотя она налицо во всех --
поэтических, прозаических и эпистолярных -- произведениях раннего Домале. Об
этой связи посвящения и смерти хорошо сказано у Рудольфа Штайнера: "Человек
достигает предела, где дух объявляет ему всякую жизнь как смерть. Тогда он
больше не в мире; он под миром -- в преисподней. Он совершает путешествие в
Аид. Благо ему, если он не погибнет теперь. Если перед ним откроется новый
мир. Он или исчезнет в нем, или предстанет перед самим собой преображенным.
В последнем случае новое солнце, новая земля возникают перед ним. Из
духовного пламени возрождается для него весь мир". Посвященного уже не
может пугать "смерть с вульгарным смехом" (выражение Домале). "Посвященные
знают, что их ждет после смерти, -- пишет в упомянутой выше книге Александра

Давид-Неэль. -- Созерцатели уже при жизни видели и испытывали сопровождающие смерть ощущения. Значит, они не будут удивлены и испуганы, когда их личность распадется. Ее истинная сущность выпростается из своей оболочки, сознательно вступит в иной мир и уверенно пойдет по уже знакомым дорогам и тропам, заранее зная, куда они ее приведут".

Вся беда в том, что наркотики, алкоголь и прочие, по выражению Олдоса Хаксли, "суррогаты благодати" не могут заменить подлинного ритуального посвящения и, следовательно, ведут в лучшем случае к нечаянным и смутным прозрениям далеко не самых высших областей инобытия ("мы любим бродить по окраинам ада"), а в худшем -- к болезням, безумию и "смерти с вульгарным смехом". Вовремя осознав эту опасность, Домаль уже в 1927 году резко оборвал свои затянущиеся "эксперименты". "Блаженная мумификация посредством опиума, театральная и суетливая трансмутация с помощью гашиша, муравьиное головокружение от кокаина" -- все это осталось в прошлом. Поэт полностью отказывается не только от вина и наркотиков, но и от мяса, начинает заниматься дыхательными упражнениями, овладевает основами хатха-йоги (в ее европеизированном варианте), а заодно приступает к изучению санскрита. В те же годы он открывает для себя произведения крупного французского эзотерика

Рене Генона, без знакомства с которыми было бы невозможно не только создание "Горы Аналог", но и все дальнейшее развитие творческой личности Домалея. Геноновский "Царь мира", опубликованный в 1927 году, послужил своего рода "закваской" для "Горы Аналог": в обеих книгах развиваются довольно странные для "рационально" мыслящего европейца темы той отрасли эзотерического знания, которую Рене Генон именовал "священной географией". В "Царе мира" описывается древнее святилище, располагавшееся когда-то, на заре времен, на Полюсе или на вершине Мировой горы, тогда еще не только символической, а обладавшей достаточными признаками реальности, доступной

физическому восприятию. Этот центр, согласно Генону, был хранилищем "Традиции", то есть совокупности священных знаний, когда-то полученных праотцами человечества непосредственно от "высших сущностей" и с тех пор передаваемых из уст в уста представителями жреческих каст или аналогичных этим кастам организаций. Традиция -- это своего рода сердцевина, духовный стержень любого здорового общества; без нее невозможно ни подлинное его процветание, ни обеспечение каждому из его членов достойного места при жизни и благой участи после смерти. Когда какая-либо ветвь Традиции мертвеет, засыхает или, образно выражаясь, "уходит в землю", ее место, по словам Домалья, занимают "современные идола: описательная наука, мораль, прогресс, счастье человечества, самоценность личности, жизнь в поисках прекрасного -- все эти абсурдные железки и булыжники, которые тяжким грузом ложатся на нашу грудь". Вслед за Геноном Домаль не перестает повторять, что современный мир -- это всего лишь огромная пародия на истинную цивилизацию, вселенский дом сумасшедших, так едко высмеянный им в романе "Большая пьянка" (1938).

Разбирая вопрос о первоизданном великом святилище, откуда, кстати сказать, явились поклониться Христу его владыки, "цари-волхвы", Генон утверждал, что вследствие неуклонной материализации мира, всеобщего помрачения и упадка духовности оно стало недоступным для физического восприятия, превратившись из "горного места" в некий потаенный пещерный храм, расположенный где-то в Гималаях. Забегая вперед, скажу, что Домаль, развивая учение Генона в виде эзотерической притчи, утверждал, что на земле до сих пор существует реальная возвышенность, аналогичная символической Мировой горе, "Гора Аналог", огражденная от праздных или кощунственных взоров "искривленным пространством", -- гора, на вершине которой, "подобно бессмертному семени", хранится традиционное знание. "Гора Аналог" соединяет нашу теперешнюю среду обитания с высшими сферами; восхождение на нее

равнозначно истинному посвящению, ведущему к осознанию брэнности человеческой природы, иллюзорности нашего зыбкого "я" и -- в конечном счете -- слиянию с Абсолютом. Герои Домалья снаряжают экспедицию, чтобы проникнуть в это "заколдованное место" и приобщиться к его тайнам; сам Домаль такой возможности не имел -- ему оставалось искать контакт с организациями, претендовавшими на связь с "высшим эзотерическим центром" или хотя бы с одним из его филиалов.

К числу таких организаций в Европе 20--30-х годов принадлежала "школа" Георгия Ивановича Гурджиева (1872--1949), вскользь упомянутого мною выше. Гурджиев -- одна из самых незаурядных, загадочных и весьма, надо признаться, двусмысленных фигур нашего века. Свидетельства людей, близко знавших этого "гуру", собранные в книге Луи Повеля "Мсье Гурджиев", на редкость противоречивы. Одни -- в первую очередь великосветские дамы, такие, как вдовы Метерлинка и Карузо, -- видят в нем духовного учителя, "чудотворца", "целителя душ", другие -- среди них такие известные литераторы, как Книга Луи Повеля "Мсье Гурджиев" готовится к выпуску в издательстве "Энигма".

Дсни Сора и Поль Серан, -- подчеркивают темные, люциферическис черты личности Гурджисва, рисуют его этакой помесью Калиостро с Распутиным. "Учение" Гурджиева, насколько о нем можно судить по его собственным сочинениям и книгам его ученика Петра Успенского, представляется чудовищной мешаниной из фрагментов подлинных эзотерических истин, зачастую сознательно огрубленных и приземленных, и, как это ни странно, самых крайних постулатов французского механистического "материализма" эпохи пресловутого "Просвещения". Во вселенной Гурджиева, состоящей из "атомов" разного веса и объема, все строго детерминировано, все определяется придуманными им "законами": в мире Абсолютного всего один закон -- единая воля Абсолюта; в мире "всех миров" этих законов три; в мире "всех Солнц" -- шесть, и так

далее, вплоть до самого низшего мира Луны, где их целых девяносто шесть. Все эти "миры", как и следовало ожидать, чисто материальны. "В этой вселенной, -- пишет Успенский в своей книге "В поисках чудесного", -- все можно взвесить и измерить. Абсолютное так же материально, как Луна или человек. Если Абсолютное -- это Бог, значит, и Бога можно взвесить, измерить, разложить на составные элементы, "вычислить" и выразить в виде определенной формулы". Ну а уж если сам Бог поддается "разложению" и "вычислению", то что же тогда говорить о человеке? Обычный человек, по учению Гурджиева, -- это всего-навсего живой автомат, напрочь лишенный и собственной воли и каких-либо проблесков разума. "Все люди, которых вы видите, -- все это машины, которые работают под влиянием внешних воздействий. Они рождены машинами и умрут машинами... Какая психология может относиться к машинам? Для изучения машины необходима механика, а не психология".

Вот этой-то механикой и занимался Гурджиев со своими учениками, многие из которых отписывали на его имя все свои сбережения, чтобы поступить в "Институт гармоничного развития человека", располагавшийся в старинном Авонском замке неподалеку от Фонтенбло. Там они с утра до вечера занимались вполне бессмысленными вещами -- копали, например, рвы, которые назавтра сами же и засыпали, а в промежутках между этими занятиями осваивали практику "священных" танцев, якобы заимствованную Гурджиевым у персидских и турецких суфиев. "Метр" всячески терроризировал своих подопечных, лишал их сна, отдыха и любимых развлечений, утверждая, что только так можно на основе обычного физического тела вырастить еще три психосоматических модальности -- природное, духовное и божественное тело, последнее из которых обеспечивает связь с Абсолютом и физическое бессмертие. Стоит ли говорить, что "дрессировка" Гурджиева превращала доверившихся ему людей в лучшем случае в подлинных роботов, в худшем -- доводила до смерти, как это случилось,

например, с замечательной новозеландской писательницей Кэтрин Мэнсфилд.

"Бегите от Гурджиева, как от чумы", -- предостерегал своих учеников Генон, являвшийся -- и в духовном, и в чисто человеческом плане -- антиподом авонского "балетмейстера". Это предостережение не было известно Домалю, и он, не переставая восхищаться Геноном ("если он говорит о Веде, он мыслит Бедой, он сам становится Ведой"), попал в гурджиевские сети, начал посещать занятия одного из филиалов "Института", руководимого неким Александром Зальцманом, а после его смерти -- его вдовой. Ничего удивительного в этой раздвоенности нет, если вспомнить, что Домаль родился под тем астрологическим знаком, который изображается в виде двух рыб на одной снижке, пытающихся плыть в разные стороны. Он трагическим образом воплощал в себе всю растерянность своего поколения и своей эпохи -- эпохи хрупкого затишья между двумя великими войнами. Зачитываясь Геноном, изучая традиционную философию Индии, он в то же время заигрывал с марксизмом и поддерживал лозунг Андре Бретона "Сюрреализм на службе революции". Считал поэзию чем-то вроде йоги, утверждал, что истинный поэт "должен дисциплинировать себя и управлять собой, чтобы стать совершенным инструментом сверхъестественных функций", -- и увлекался "автоматическим письмом", придуманным сюрреалистами, напроочь отвергавшими всякую самодисциплину. По-мальчишески дурачился и озорничал в предельно искренних письмах друзьям, а потом, после знакомства с Гурджиевым, изобразил своих прежних единомышленников в виде кучки раскольников, предателей, корыстолюбцев и бездарей...

Рассказывая об этом периоде жизни Домалья, Жан Бьес пишет: "С ним происходило то, что происходит со всяким, кто уходит в монастырь: последовательный отказ от смеха и шуток, забвение прошлого, приспособление к новой терминологии, включающее в себя иную шкалу ценностей и оценок, все

возрастающий разрыв между ним и теми, кто остался в миру".

"Но, -- продолжает Бьес, -- сознавал ли Домаль, что воля к власти и жестокое подавление телесных потребностей могут стать смертоносным оружием в руках тех, кому в то же время не внушено понятие Благодати?.." Пусть Домаль и не стремился посредством гурджиевских упражнений к обретению паранормальных способностей, сам метод Гурджиева вел именно к этому. А такие способности, как известно, являются лишь препятствием на пути духовного развития.

Здесь, справедливости ради, стоит отметить, что сам Гурджиев не поощрял занятий Домалья: много ли проку от чахоточного ученика! "Полная трансмутация, то есть образование астрального тела, возможна лишь в здоровом, нормально функционирующем организме", -- вторил своему учителю Успенский. Так или иначе, здоровье Домалья, еще в юности подорванное "оккультной самодеятельностью", не выдержало перегрузок, связанных с гурджиевской "гимнастикой": он скончался 21 мая 1944 года, а рукопись его последнего, "ключевого" романа "Гора Аналог", над которым он работал в продолжение пяти лет, осталась оборванной на середине фразы...

Художественная и философская ценность "Горы Аналог" в немалой степени определяется высоким "удельным весом" этого сравнительно небольшого текста. Неискушенный читатель увидит в нем нечто вроде научно-фантастического романа, явно перекликающегося с такими шедеврами этого жанра, как "Путешествие к центру земли" Жюль Верна. Более эрудированный человек отметит связь "Горы Аналог" с традицией французской философской сказки от "Кандида" Вольтера до "Маленького принца" Антуана де Сент-Экзюпери. И, наконец, люди, хоть мало-мальски знакомые с литературой по эзотерике, со всей справедливостью отнесут книгу Домалья в разряд эзотерической притчи, рассказа о поисках космического центра, в процессе которых герои становятся

участниками мистерии посвящения. "Гора Аналог" полна явных и скрытых отсылок ко множеству произведений схожих жанров. Самое древнее из них -- это древнеегипетская "Сказка о потерпевшем кораблекрушение", называемая еще "Змеиным островом". Нужно, правда, оговориться, что герой этой "сказки" попадает на волшебный остров не по собственной воле -- его заносит туда бурей. Но сути дела это не меняет: он оказывается на клочке суши (обломке Атлантиды? Лемурии?), которым правит всезнающий говорящий змей, чудом уцелевший во время космической катастрофы, которая погубила всех его родичей: "Внезапно упала звезда, и они были охвачены ее пламенем. И случилось так, что меня не было при этом, и они сгорели, когда меня не было среди них". Змей--владыка острова, скорее всего, является последним потомком древней разумной расы хранителей священного знания, той самой расы, что описана в поэме Гумилева "Дракон", основанной на оккультных источниках. "Змеиный остров" обречен:

"После того как ты удалишься отсюда, -- говорит царь-змея безымянному мореплавателю, -- ты никогда больше не увидишь этот остров, который превратится в волны". Это пророчество можно понимать в буквальном смысле -- как реальную гибель последнего островка, оставшегося от Лемурии или Атлантиды, и как намек на "помрачение", "оккультацию" допотопного святилища, становящегося недоступным для физического восприятия. Суть сказки в том, что перед этим царь-змея успевает поделиться с человеком частью своих духовных сокровищ, олицетворяемых -- как и положено в произведениях данного жанра -- сокровищами материальными. Таким образом осуществляется связь между прежним и новым хранителем священной Традиции -- связь, о которой так много и так подробно писал Рене Генон.

Не буду перечислять многочисленные примеры "волшебного странствия", которыми переполнены многие замечательные произведения античности,

средневековья и Возрождения: читатель и сам вспомнит о символическом плавании аргонатов в поисках золотого руна, о паломничестве героев Рабле к оракулу Божественной Бутылки Бакбук, о приключениях Синдбада-морехода и других скитальцев из Книги тысячи и одной ночи. Символика морской стихии в ее космическом аспекте соотносится с образом "внешнего" мира, который необходимо пересечь, чтобы добраться до духовной "сердцевины" вселенной, до Мировой Горы, хранилища древнего священного знания. Что же касается микрокосмического значения моря, то оно в большинстве традиций связано с "морем страстей", которые должен утихомирить в себе всякий стремящийся к обретению "великого мира", к слиянию с Абсолютом. Вот почему начальные этапы инициации часто описываются в виде мореплавания, вот почему, кстати, в католической религиозной символике Церковь часто уподобляется кораблю.

Текст *Домаля* прекрасно вписывается в эту тысячелетнюю литературно-эзотерическую традицию. Яхта "Невозможная" и ее экипаж, состоящий, вместе с капитаном и тремя матросами, двенадцать человек (цифра явно символическая -- вспомним о двенадцати апостолах или двенадцати пэрах Круглого стола), отправляется в рискованное плавание к неведомому острову, теоретически "вычисленному" заранее главой экспедиции, Соголем-Логосом. Неоднократно цитированный мною Жан Бьсс не без оснований полагает, что каждый из членов этого экипажа олицетворяет какое-либо понятие традиционной индийской философии (капитан -- "буддхи", высший разум, Соголь -- "манас", или разум индивидуальный, и т.д.), а все они, вместе взятые, являются как бы человечеством в миниатюре, которое в лице лучших своих представителей занято прежде всего поисками божественной истины. Несколько высокопарный тон моих последних строк не должен вводить читателя в заблуждение: ведь, попав на Волшебный остров, путешественники обнаруживают там потомков "невольников и моряков -- экипажи кораблей разных эпох, в самые

дальние века снаряженных теми, кто искал Гору Аналог". "В бухтах побережья, -- пишет Домаль, -- строгими рядами стояли корабли всех времен и всех стран, самые старые заросли солью, водорослями и ракушками до такой степени, что их невозможно было узнать. Там стояли и финикийские лодки, и триремы, и галеры, каравеллы и шхуны, два колесных парохода и даже старый сторожевой корабль прошлого века, но вообще-то суда недавних эпох были довольно малочисленны".

На Гору Аналог нет доступа праздным, а тем более корыстным или агрессивным

субъектам. Ветер, втягивающий на Волшебный остров суда подлинных искателей истины, "не был ни естественным, ни случайным: он дул, повинуюсь чьей-то воле" -- надо полагать, воле владык этого "заколдованного места", Великих Посвященных, способных, как даосские "бессмертные", управлять стихиями. Среди набросков Домаля, относящихся к планам работы над "Горой Аналог", сохранилось краткое описание незавидной участи "ренегатов", организовавших свою собственную экспедицию на остров: "Они думали, что гора непременно таит под собой нефть, золото или еще какие-нибудь сокровища, ревниво охраняемые людьми, которых непременно надо победить. И потому они снарядили настоящий военный корабль, оснастив его самым современным оборудованием... Когда же они оказались в пределах видимости Горы Аналог, то собрались обрушить на нее всю свою огневую мощь. Но поскольку законы, действующие там, были им неведомы, они попали в водоворот. Обреченные на бесконечное и медленное вращение, они, конечно, могли бомбардировать побережье, но их снаряды бумерангом обращались против них самих".

Что же касается экипажа яхты "Невозможная", то ему по прибытии на остров пришлось расстаться почти со всем своим "научным" снаряжением, которое оказалось совершенно непригодным и, более того, бессмысленным в условиях волшебного мира: фотоаппараты только засвечивали пленку,

электрические фонарики не светили, измерительные приборы были не в состоянии что-либо "измерить". Экспедиция без сожаления бросает всю эту грудку хлама, символизирующего пресловутые "достижения" машинной западной цивилизации, согласно известной формуле Генона, "очищаясь от металлов", препятствующих человеку в поисках духовной истины. "Все это -- глупые игрушки, которые доставили бы нам одни неприятности", -- заявляет один из путешественников.

Одновременно с процессом "очищения от металлов" совершается параллельный, но куда более значительный процесс очищения, трансформации личности каждого из участников экспедиции. "Мы понемногу избавлялись от своих старых шкур, от тех персонажей, которыми мы были. Оставляя на побережье громоздкие свои приспособления, мы готовились и к тому, чтобы отбросить художника, изобретателя, врача, эрудита, литератора. За маскарадными костюмами начали проглядываться мужчины и женщины". Пытаясь описать духовный облик человека, принимающего посвящение (а восхождение на волшебную Гору равнозначно инициационным мистериям), Домаль прибегает к еще одному древнему символу -- символу младенчества с его незамутненной чистотой и врожденной мудростью: "Из незамутненных глубин моей памяти восстает, пробуждается маленький ребенок, заставляющий рыдать маску старца, -- рассуждает Соголь-Логос. -- Маленький ребенок, который ищет отца и мать, который вместе с вами ищет помощи и защиты; защиты от своих удовольствий и своих грез, помощи, чтобы стать тем, кто он есть, когда никому не подражает". Обретение первоначальной, адамической цельности человеческого существа явилось темой "Легенды о людях-пустышках и Горькой розе", служащей как бы символической сердцевиной всего романа. Герои этой вставной новеллы, братья-близнецы Го и Мо, порознь олицетворяют собой двойственные, противоречивые стороны человеческой природы: деятельную и созерцательную. Только пройдя через "испытание пустотой" (а именно так называется одна из начальных фаз алхимического

процесса), Го и Мо сливаются в единое, цельное существо -- Мого (анаграмма латинского слова Ното, что значит "человек"). "Мо знает дорогу, а Го знает, что делать", -- Мого-Гомо в финале легенды срывает Горькую розу, символизирующую сокровенное знание, совершает магическое деяние, к которому стремятся члены экспедиции на Волшебную Гору.

Им, как и самому Домалю, не суждено было подняться па ее вершину: мы расстаемся с ними в тот момент, когда они слушают рассказ проводника Бернара об экологической катастрофе, постигшей один из районов острова в результате его собственного ничтожного проступка. Все в мире взаимосвязано, все пронизано незримыми струями причинно-следственных взаимоотношений, постичь которые во всей их сложности способны лишь Великие Посвященные, "люди Горы", тогда как простые смертные обречены действовать наугад, не предвидя, чем могут обернуться их поступки.

Рене Домаль не был ни "Великим Посвященным", ни просто посвященным: сходство между его незавершенной книгой и прервавшейся в расцвете лет жизнью бросается в глаза и наводит на печальные мысли о том, что ему -- при всех его стараниях -- так и не удалось сплавить в себе воедино своего "Мо" со своим "Го", стать совершенным человеком, Ното. Он, как и его герои, часто действовал наугад, рисковал, разрывался между крайностями. Его стихия -- не просветленность, а трагизм. Но хочется думать, что в инобытии он наконец достиг того, к чему тщетно стремился в жизни: поднялся на вершину Горы Аналог, откуда открывается вид на всю про

тяженность миров -- демонических, человеческих, ангельских и божественных. Откроем же его "путевой дневник" и попытаемся вместе с ним и его героями добраться хотя бы до основания Волшебной Горы, которая "отводит от мира жар геенны".

Ю. Стефанов

предисловие

ФРАНЦУЗСКОГО ИЗДАТЕЛЯ*

Рене Домаль начал писать "Гору Аналог" в июле 1939 года в Пельву (Верхние Альпы) в один из самых трагических моментов своей жизни. Только что -- на тридцать втором году своей жизни -- он узнал, что безнадежен: застарелый туберкулез, которым он болел уже более десяти лет, мог иметь только смертельный исход. Три главы были закончены в июне 1940-го, когда Домалю пришлось оставить оккупированный немцами Париж, так как его жена, Вера Миланова, была еврейкой. После трех лет, проведенных в Пиренеях (Гаварни), в окрестностях Марселя (Аллош) и в Альпах (Пасси, Пельву) -- условия жизни там были во всех отношениях очень трудные, -- Домалю выпала летом 1943 года небольшая передышка, и он надеялся, что сможет закончить свой "роман". Он принялся за работу, но трагическое ухудшение здоровья помешало ему закончить рассказ о своем "символически достоверном" путешествии. Домаль умер в Париже 21 мая 1944 года.

Хотя "Гора Аналог" не закончена, и по композиции, и по структуре своей она представляет собой повествование, развитие которого позволяет -- в каждое мгновение -- понять его цель -- единственную, указанную Домалем. Читатель легко может вообразить и даже реконструировать продолжение и конец этих "альпийских приключений", воспользовавшись планами и текстами писателя, воспроизведенными в примечаниях и в послесловии Веры Домаль.

ГОРА АНАЛОГ

РОМАН ОБ АЛЬПИНИСТСКИХ ПРИКЛЮЧЕНИЯХ,
НЕЕВКЛИДОВЫХ И СИМВОЛИЧЕСКИ ДОСТОВЕРНЫХ

Глава первая,

ОНА ЖЕ ГЛАВА ВСТРЕЧИ

Кое-что новое в жизни автора. -- Символические горы. -- Серьезный читатель. -- Альпинизм --Пассаж Патриархов. -- Отец Соголь. -- Парк внутри, мозги снаружи. -- Искусство знакомиться. -- Человек, который гладил мысли против шерсти. -- Признания. -- Сатанинский монастырь. -- Как дежурный бес ввел в искушение хитроумного монаха. -- Изобретательная Физика. --Болезнь отца Соголя. -- Рассказ о мухах. -- Страх смерти. -- С яростным сердцем и разумом стальным. -- Безумный проект, сведенный к простой триангуляционной задаче. -- Один из законов психологии.

ВСЕ, о чем я собираюсь рассказать, началось с незнакомого почерка на конверте. В том, как было начертано мое имя и адрес журнала "Ископаемые", где я сотрудничал и откуда мне переслали это письмо, просматривалась какая-то причудливая смесь буйства и нежности. И пока я раздумывал, кто бы это мог быть и что это могло быть за послание, мною овладевало смутное, но очень сильное предчувствие, что это -- гром среди ясного неба, "булыжник в лягушачьем болоте". И тут должен был себе сам признаться, что и жизнь моя -- стоячее болото, ну, скажем, в последнее время. И потому, читая письмо, я никак не мог понять, что со мной происходит: то ли на меня дует живительный свежий ветерок, то ли это мерзкий сквозняк.

Тем же почерком, скорым и очень слитным, на одном дыхании сообщалось:

"Мсье, я прочел вашу статью о Горе Аналог. До сих пор я считал, что я

единственный, кто убежден в ее существовании. Сегодня нас уже двое, завтра будет десятеро, а может, и больше, и хорошо бы попытаться организовать экспедицию. Нам с вами нужно побыстрее связаться. Позвоните мне, как только сможете, по одному из этих номеров. Жду.

Пьер Соголь 37, Пассаж Патриархов, Париж"

(Дальше следовали пять или шесть номеров телефонов, по которым я мог звонить в разное время дня.)

Я уж почти забыл о заметке, на которую ссылался мой корреспондент, ведь она была напечатана почти три месяца назад, в майском номере журнала "Ископаемые".

Польщенный проявлением интереса со стороны неизвестного читателя, я в то же время испытал некоторую неловкость от того, что кто-то принял настолько всерьез, просто трагически серьезно, литературную фантазию, некогда приведшую меня в восторг, но теперь уже ставшую воспоминанием, далеким и остывшим.

Я перечел статью. Это был довольно беглый взгляд на символическое значение горы в древней мифологии. С давних пор различные толкования этой символики были излюбленным моим занятием -- я наивно полагал, что как-нибудь во всем этом разберусь, -- ну а помимо прочего я страстно любил горы как альпинист. И вот соединение двух таких разных интересов к одному предмету -- Горе -- и расцвело восторженностью некоторые пассажи моей статьи. (Подобного свойства сочетания, какими бы нелепыми они ни казались, часто лежат у истоков, ну, во всяком случае, играют существенную роль в зарождении того, что обычно называют поэзией; я оставляю свою ремарку в качестве предположения для критиков и эстетиков, которые тщатся высветить природу этого загадочного вида языка.)

Вкратце, я писал о том, что в сказочной, легендарной традиции Гора --

это связь между Землей и Небом. Ее единственная вершина касается мира вечности, а основание многочисленными отрогами лежит в мире смертных. Гора -- это тот путь, на котором человек может возвыситься до божественного, а божественное в свою очередь может открыться человеку. Ветхозаветные пророки и пророки лицом к лицу встречаются с Богом на возвышенных местах. Это Синай и Нево Моисея, а в Новом Завете -- Гора Елеонская и Голгофа. Я дошел даже до того, что обнаружил древний символ горы в хитроумных пирамидальных конструкциях Египта и Халдеи. Перейдя к арийцам, я упомянул туманные легенды из Вед; там говорится о том, что место сомы, "пьяного напитка", представляющего собой "семя бессмертия", -- "в горе", где он обитает, светящийся и изящный. В Индии Гималаи -- местопребывание Шивы, его жены, "Дочери Горы", и "Матерей" миров, так же точно, как в Греции у царя богов -- свой двор на Олимпе. Да, кстати, именно в греческой мифологии я нашел словно бы дополняющий этот символ рассказ о том, как взбунтовались дети Земли и, такие земные по сути своей, с земными своими возможностями, решили штурмовать Олимп и проникнуть на Небо на глиняных своих ногах; да разве не то же самое затеяли строители Вавилонской башни, не оставившие бесконечных личных амбиций и при этом рассчитывавшие попасть в Царство Единственного и неперсонифицированного? В Китае много рассуждали о "Горах Блаженных", а древние мудрецы давали уроки своим ученикам на краю пропастей...

Итак, прогулявшись по самым известным мифологическим сюжетам, я перешел к общим соображениям по поводу символов, которые разделил на два вида: те, что подчинены лишь правилам "пропорций", и те, которые подчиняются, кроме того, правилам "лесенки". Это разграничение делалось много раз. Все же напомним его: "пропорция" касается отношений между измерениями сооружения, "лесенка" -- отношений между этими измерениями и размерами человеческого тела. Равносторонний треугольник, символ Троицы, имеет то же значение, что и

его измерения; у него нет "лесенки". И наоборот, возьмите собор, редуцируйте его точнехонько до нескольких десятков сантиметров высотой; этот предмет будет нести в себе и по форме, и по пропорциям тот же интеллектуальный смысл, что и само сооружение, даже если придется некоторые детали рассматривать с лупой; но он вовсе не будет вызывать тех же эмоций, тех же соотношений не будет; он уже не "на лесенке". А то, что определяет лесенку символической горы в высшем смысле -- той, которую я предложил назвать Горой Аналог, -- это ее недоступность для обычных человеческих возможностей. Потому что ведь и Синай, и Нево, и даже Олимп давным-давно стали тем, что альпинисты называют "коровьими горами", и даже самые высокие вершины Гималаев теперь уже никому не кажутся недоступными. Все эти вершины, стало быть, утратили силу аналога. Символу пришлось найти укрытие в горах совсем мифических, таких, как Меру у индусов. Но Меру -- рассмотрим этот единственный пример, -- если она нигде географически не расположена, не может не утратить восхитительного смысла пути, соединяющего Небо и Землю; она еще может быть центром или осью нашей планетарной системы, но не может позволить человеку добраться до нее.

"Чтобы гора могла играть роль Горы Аналог, -- заключал я свою статью, -- надо, чтобы вершина ее была недоступна, а основание -- доступно человеческим существам, таким, какими их создала природа. Она должна быть уникальна и должна где-то находиться в географическом смысле. Дверь в невидимое должна быть видимой".

Вот что я написал. Из моей статьи, если ее и впрямь понимать буквально, следовало, что я верил в существование где-то на земной поверхности горы гораздо более высокой, чем Эверест, что, с точки зрения человека, считающегося здравомыслящим, -- чистый абсурд. И вот кто-то ловит меня на слове! И говорит мне, что надо "попытаться организовать экспедицию"!

Сумасшедший? Шутник?.. Но я-то! -- тут же сказал я сам себе, я, написавший эту статью, мне разве мои читатели не имеют права задать тот же самый вопрос? Ну и как же, сумасшедший я или шутник? Или просто-напросто литератор? -- Так вот, задав себе самому эти мало приятные вопросы, могу теперь признаться, что где-то в глубине души, несмотря ни на что, была у меня твердая вера в вещественную реальность Горы Аналог.

Наутро я звонил в соответственный час по одному из телефонных номеров, указанных в письме. На меня тут же обрушился женский довольно механический голос, возвестивший мне, что это "Лаборатории Эурины", и спросивший, с кем именно я хотел бы говорить. После некоторого дребезжания и щелчков со мной соединился мужской голос:

-- О, это вы? Вам крупно повезло, по телефону запахов не слышно! Вы в воскресенье свободны? Тогда приходите ко мне около одиннадцати; до завтрака пройдемся по моему парку... Что? Да, да, конечно, Пассаж Патриархов, а в чем дело?.. Ах, парк? Это моя лаборатория; я так понял, что вы альпинист. Да? Ну и прекрасно, договорились, да?.. До воскресенья!

Похоже, это не сумасшедший. Сумасшедший не мог бы занимать ответственный пост на парфюмерной фабрике. Значит, шутник? Но теплый и решительный этот голос совсем не голос шутника.

Был четверг. Настало три дня ожидания, и все эти три дня мои близкие находили, что я очень рассеян.

Воскресным утром я прокладывал себе дорогу к Пассажу Патриархов, рассыпая помидоры, задевая плечами потных кумушек и поскальзываясь на банановых шкурках. Войдя под портик, я спросил властительницу коридоров, куда мне идти, и направился к двери в глубине двора. Прежде чем войти туда, я обратил внимание, что из маленького окошка на шестом этаже свисает по облупившейся и на середине высоты вздувшейся стене двойная веревка. В окне

появились бархатные, насколько я мог судить о деталях с такого расстояния, штаны; они были заправлены в чулки, а те в свою очередь переходили в мягкие ботинки. Персонаж, который заканчивался таким образом, опираясь рукой о подоконник, снизу протянул два конца веревки между ногами, затем вокруг правого бедра, потом наискось вокруг груди к левому плечу, затем протянул веревку за поднятым воротником своей короткой курточки и, наконец, перед собой через правое плечо, причем все это он проделал одним взмахом руки; схватив висящие концы веревок правой рукой, а верхние -- левой, он оттолкнулся ногами от стены и, поджав их, с прямой спиной на скорости полтора метра в секунду спустился именно тем манером, который так красиво смотрится на фотографиях. Едва он коснулся земли, как второй силуэт двинулся по тому же маршруту; этот новый персонаж, добравшись до места, где вздулась штукатурка, получил удар по голове чем-то похожим на старую картофелину, которая тут же разбилась о мостовую, причем падение картофелины сопровождалось зычным голосом, прозвучавшим сверху: "Это чтобы вы привыкли, что камни все время падают!"; человек тем не менее добрался донизу не сильно обескураженный, однако не закончил свой спуск "отзывом веревки", оправдывающим свое название и состоящим в дерганье одного из концов для возвращения каната. Оба человека удалились и вышли из-под портика, консьержка смотрела на них с явным отвращением. Я пошел своей дорогой дальше, поднялся черной лестницей на пятый этаж и возле окна нашел указующую табличку:

"Пьер Соголь, учитель альпинизма. Уроки по четвергам и воскресеньям от 7 до 11 часов. Добираться следующим образом:

выйти через окно, встать на площадку слева, взобраться по дымоходу, укрепиться на карнизе, подняться по разрушенному сланцевому скату, пройти по коньку крыши с севера на юг, обойти "жандармы" -- их там много -- и войти

через слуховое окно западного ската".

Я охотно подчинился этим причудам, хотя на шестой этаж можно было подняться и по лестнице. "Площадка" оказалась узеньким бортиком, "дымоход" -- темным углублением, которое вот-вот будет закрыто при постройке прилегающего дома и обретет название "двора", "сланцевый скат" -- старой шиферной крышей, а "жандармами" были всего-навсего печные трубы, прикрытые шлемами и колпаками. Я влез в слуховое окно и... -- прямо передо мной стоял человек. Довольно высокий, худой, крепкий, с густыми темными усами и слегка вьющимися волосами, он был спокоен, как пантера в клетке, ждущая своего часа; глядя на меня своими ясными черными глазами, он протягивал мне руку.

-- Видите, что мне приходится делать, чтобы заработать себе на кусок хлеба, -- сказал он. -- Я бы хотел вас получше принять...

-- А я думал, вы работаете в парфюмерной промышленности, -- перебил я его.

-- Не только. Я еще работаю на фабрике, выпускающей бытовую технику для домашнего хозяйства, в фирме по производству товаров для кемпингов, в лаборатории инсектицидов и на комбинате фотогравюр. И всюду я пытаюсь внедрять изобретения, признанные неосуществимыми. До сих пор все получалось, но поскольку известно, что я в этой жизни ничего другого, кроме как изобретать нелепости, не умею, платят мне не густо. Ну и вот, я даю уроки скалолазания деткам, пресыщенным бриджем и круизами. Чувствуйте себя как дома и знакомьтесь с моей мансардой.

На самом деле здесь было несколько мансард, между которыми были снесены перегородки; образовалась длинная мастерская с низкими потолками, но хорошо освещенная и проветриваемая: в самом конце ее было большое окно. Под окном лежала груда пособий, обычных для кабинета, где занимаются физикой и химией, а вокруг кружила кругом каменная тропа, имитирующая самую непроходимую

горную: по обе стороны в горшках и кадках росли деревца и кустики, кактусы, маленькие хвойные деревья, карликовые пальмы и рододендроны. Вдоль тропки взгляду представали приклеенные к стенкам, нацепленные на кустики, а то и просто свисавшие с потолка -- все пространство использовалось здесь максимально -- сотни табличек. На каждой из них был рисунок, фотография или какой-нибудь текст, а все вместе они составляли настоящую энциклопедию того, что мы называем "суммой человеческих знаний". Схема растительной клетки, периодическая система Менделеева, ключ к китайской письменности, человеческое сердце в разрезе, Лоренцевы преобразования, каждая планета со всеми характеристиками, ископаемые лошади, иероглифы майя, экономическая и демографическая статистика, музыкальные фразы, представители благородных семейств растений и животных, типы кристаллов, план Большой пирамиды, энцефалограммы, формулы логистики, таблицы всех звуков, используемых во всех языках, географические карты, генеалогические древа -- в общем, все то, что должно было помещаться в голове какого-нибудь Мирандолы XX века.

И тут, и там -- в банках, аквариумах и клетках -- экстравагантная фауна. Но хозяин мой не дал мне задержаться и рассмотреть его голотурий, кальмаров, водяных пауков, термитов, муравьиных львов и аксолотлей... он увлек меня на тропинку (мы рядом едва помещались на ней) и повел меня прогуляться по лаборатории. От легкого сквозняка и запаха карликовых хвойных могло создаться впечатление, что мы карабкаемся по крутому серпантину бесконечной горы.

-- Вы же понимаете, -- сказал мне Пьер Соголь, -- что нам придется принять такие важные решения, последствия которых отзовутся во всех закоулках нашей жизни, и вашей, и моей, и мы не можем сделать это вот так, ни с того, ни с сего, толком не познакомившись. Походить, поговорить, поесть вместе -- вот что мы можем сделать сегодня. Позже, я полагаю, у нас будет

возможность действовать вместе, страдать вместе -- ведь все это необходимо, чтобы, как говорится, "познакомиться".

Естественно, мы говорили о горе. Он обегал все самые высокие горные массивы, известные на нашей планете, и я чувствовал, что, держась за концы одной крепкой веревки, мы прямо сегодня же могли пуститься с ним в самые безумные альпинистские приключения. В разговоре мы как-то перескакивали, куда-то соскальзывали, делали виражи, и я понял, какой смысл был в его картинках, вобравших в себя все познания нашего века. Эти тексты и рисунки у всех у нас -- в большем или меньшем наборе -- в голове, и они создают у нас иллюзию: мы "думаем", что думаем о чем-то очень высоком, научно-философском, когда кое-какие из этих табличек группируются не слишком обычно, не слишком ново, чисто случайно: то есть то ли сквозняк виноват, то ли просто-напросто они всегда в непрерывном движении, подобно тому, как броуновское движение заставляет шевелиться мельчайшие частицы, взвешенные в жидкости. Здесь же весь этот материал был во всей очевидности вне нас; мы не могли смешаться с ним. И словно гирлянду на гвоздике, мы нанизывали наш разговор на эти маленькие картинки, и каждый из нас одинаково ясно видел механизм возникновения мысли, как чужой, так и своей собственной.

В манере мыслить этого человека, как, впрочем, и во всем остальном у него, было удивительное сочетание мощи, зрелости с детской непосредственностью. Но главное, я чувствовал, что рядом со мной человек не только с нервными и неутомимыми ногами, так же точно я ощущал его мысль, словно какую-то силу, не менее реальную, чем тепло, свет или ветер. Сила эта была в поразительной его способности воспринимать идею будто внешний фактор и устанавливать новые связи между разными идеями, по видимости совершенно не имеющими точек соприкосновения. Я слышал -- осмелюсь даже сказать, видел, -- как он рассуждал об истории человечества, словно о задачке из начертательной

геометрии, а в следующую минуту уже говорил о свойствах чисел, будто имел дело с зоологическими особями; слияние и деление живых клеток становилось особым случаем логического умозаключения, и речь вступала в свои права в небесной механике.

Я едва отвечал ему, и вскоре у меня начала кружиться голова. Он заметил это и заговорил о своем прошлом.

-- Еще в молодости я пережил почти все радости и невзгоды, все удовольствия и мучения, которые могут выпасть на долю человека как животного общественного. Нет смысла вдаваться в детали: репертуар возможных в человеческих судьбах событий довольно ограничен, и это всегда почти одни и те же истории. Только скажу вам, что однажды я обнаружил, что одинок, я совсем один, один на один с уверенностью, что закончил свой цикл существования. Я много путешествовал, изучал самые странные науки, приобрел дюжину специальностей. Жизнь воспринимала меня как нечто чужеродное: она явно пыталась либо инкапсулировать меня, либо изгнать, да я и сам жаждал чего-то "другого". Мне показалось, что я нашел это "другое" в религии. Я ушел в монастырь. В какой, куда именно, неважно; знайте только все же, что принадлежал он ордену по меньшей мере еретическому.

В уставе ордена, в частности, был крайне забавный обычай. Каждое утро наш настоятель каждому -- а нас было тридцать -- вручал бумажку, сложенную вчетверо. На одной из них было написано: TU HODIE,-- и только настоятель знал, кому она досталась. В какие-то дни, я думаю, все бумажки были чистые, без текста, но поскольку мы об этом не знали, результат -- вы в этом сами убедитесь -- был тот же. "Сегодня -- ты" значило, что брат, таким образом тайно ото всех назначенный, целый день должен был играть роль "Искусителя". В некоторых африканских, да и не только африканских племенах мне доводилось присутствовать при довольно ужасных обрядах, человеческих жертвоприношениях,

антропофагических ритуалах. Но нигде, ни в какой религиозной или магической секте не встречал я обычая такого жестокого, как этот институт ежедневного соблазна. Представьте себе: тридцать человек живут коммуной, они уже слегка свихнулись от вечного ужаса впасть в грех, и вот они смотрят друг на друга, одержимые мыслью, что один из них, неведомо который, облечен обязанностью подвергнуть испытанию их веру, их смирение, их великодушие! В этом была какая-то дьявольская карикатура на великую идею -- идею, что в каждом из подобных мне, как и во мне самом, существует тот, кого надо ненавидеть, и тот, кого надо любить.

И вот вам доказательство, что обычай этот -- сатанинский: никто из монахов никогда не отказывался играть роль "Искуителя". Ни один из тех, кому была вручена эта бумажка -- *tu hodie*, -- не имел ни малейших сомнений в том, что он способен и достоин играть роль этого персонажа. Искуситель сам был жертвой чудовищного соблазна. Я тоже много раз принимал эту роль агента-provokatora, и это -- самое постыдное воспоминание во всей моей жизни. До тех пор я всегда разоблачал дежурного сатану. Эти несчастные были столь наивны! Всегда одни и те же трюки, казавшиеся им очень хитроумными, бедные бесенята! Вся их ловкость была в том, что они играли на какой-нибудь основополагающей лжи, подходящей для всех, вроде:

"Буквально следовать уставу -- это годится только для дураков, которые не могут уловить его дух", или еще: "С моим здоровьем я себе таких строгостей позволить не могу".

И все-таки однажды дежурному бесу удалось ввести меня в соблазн. В тот раз это был верзила, словно топором вытесанный, с голубыми детскими глазами. Во время отдыха он подошел ко мне и сказал: "Я вижу, что вы меня распознали. С вами ничего уж не поделаешь, вы и впрямь весьма проницательны. Впрочем, вам эти ухищрения ни к чему, вы и так знаете, что соблазн есть всегда и

повсюду вокруг нас, а точнее, в нас самих. Но посмотрите, как непостижимо безволие человека, все ему дано, чтобы он не дремал, был бдителен, а кончается тем, что он это использует лишь для того, чтобы украсить свой сон. Власяницу носят как монокль, поют на заутрене, как другие играют в гольф. О, если бы нынешние ученые мужи вместо того, чтобы изобретать без конца все новые средства для облегчения жизни, направили свою изобретательность на то, чтобы вытянуть людей из оцепенения! Конечно, существуют пулеметы, но уж слишком это превосходит цель..."

Он говорил так славно, что мозг мой залихорадило, и тем же вечером я испросил у настоятеля право все свои свободные часы посвятить изобретению и изготовлению предметов такого свойства. Я тут же придумал сногшибательные приборы: авторучку, которая текла или брызгалась через каждые пять или десять минут, для писателей, у которых слишком легкое перо; крохотный портативный фонограф с наушником, как в аппаратах для глухих, с костной проводимостью: в самый неожиданный момент вам в ухо кричали что-нибудь вроде: "Да за кого ты себя принимаешь?"; надувную подушечку, которую я назвал "мягкой подушкой сомнения" и которая вдруг вздувалась под головой спящего; зеркало, которое было так искривлено -- ну и намучился же я с ним! -- что любое человеческое лицо отражалось в нем свиным рылом, и много всякой всячины. Я был страшно увлечен работой -- настолько, что не распознавал более дежурных искусителей, а они уж всласть подначивали меня, -- как вдруг однажды утром получаю "tu hodie". Первым, кого я увидел, был верзила с голубыми глазами. Он встретил меня с кислой улыбочкой, тут же отрезвившей меня. Я сразу понял и все ребячество своих изысканий, и всю гнусность роли, которую мне предлагали играть. Против всех правил, я пошел к настоятелю и сказал ему, что больше не согласен "изображать беса". Наш настоятель говорил со мной мягко, но строго, может, даже откровенно, а может, просто

профессионально. "Сын мой, -- заключил он свою речь, -- я вижу, что в вас есть неизлечимая потребность понять, и это не позволяет вам оставаться далее в этом доме. Мы будем просить Господа, чтобы он призвал вас к себе другим путем..."

В тот же вечер я сядился на парижский поезд. Я поступил в этот монастырь под именем брата Петруса. Ушел оттуда, получив сан отца Соголя. Этот псевдоним я и сохранил. Монахи в монастыре прозвали меня так за подмеченную ими особенность моего склада ума, заставлявшую меня опровергать, пусть и наудачу, всякое предложенное утверждение, менять местами причину и следствие, первопричину и результат, суть и случай. Анаграмма "Соголь" была немного ребяческой и в то же время немного претенциозной, но мне нужно было иметь звучное имя; кроме того, оно напоминало мне о тех правилах мышления, которые уже не однаждыгодились мне в жизни. Благодаря своим научным и техническим познаниям я довольно быстро нашел себе одну-другую службу -- в разных лабораториях и учреждениях, связанных с промышленностью. Я понемногу снова адаптировался к жизни "века"; внешне, разумеется, потому что на самом деле никак не мог привязаться душой к этому копошению в обезьяньей клетке, которое они, да еще с трагическими минами на лице, называют жизнью.

Раздался звонок.

-- Хорошо, хорошо, милая Физика! -- закричал отец Соголь и объяснил мне: -- Завтрак готов. Идемте.

Он увел меня с тропки и, одним взмахом руки показывая мне всю современную науку, запечатленную на маленьких прямоугольничках перед нами, мрачным голосом произнес:

-- Липа, все это -- липа. Ни об одной из этих карточек я не могу сказать: это истина, маленькая истина, несомненная и неоспоримая. Во всем этом только тайны и ошибки; где кончается одно, начинается другое.

Мы перешли в маленькую комнатку, совершенно белую, куда был подан завтрак.

-- Вот по крайней мере кое-что "относительно реальное", если только можно поставить рядом эти два слова, не устроив взрыва, -- снова заговорил он, как только мы уселись по обе стороны одного из тех деревенских блюд, где вокруг куска какого-нибудь отварного животного дымятся, смешивая свои ароматы, все овощи сезона. -- Славная моя Физика должна пустить в ход все свое древнее бретонское искусство, чтобы на моем столе оказались блюда, в которых нет ни сульфата бария, ни желатина, ни сернистой кислоты, ни муравьиной, ни какой-нибудь другой отравы, выпускаемой современной пищевой промышленностью. Хорошее жаркое все-таки лучше лживой философии.

Ели мы молча. Хозяин вовсе не считал себя обязанным болтать за едой, и я очень ценил в нем это. Он не боялся молчать, когда ему нечего было сказать, или подумать перед тем, как заговорить. Боюсь, что, передавая сейчас наш с ним разговор, я создал впечатление, что беседа текла, не прерываясь; в действительности же рассказы его и откровения перемежались длинными паузами, частенько слово брал я: рассказал ему в общих чертах всю свою жизнь до сегодняшнего дня, но здесь ее воспроизводить ни к чему; а что до молчанья, то как же словами расскажешь о тишине? На это способна только поэзия.

После обеда мы вернулись в "парк", под окно, и улеглись на ковры и кожаные подушки: это очень простой способ увеличить пространство в помещении с низкими потолками. Физика молча принесла нам кофе, и Соголь заговорил снова:

-- Все это наполняет желудок, но больше никак не помогает. Когда есть немного денег, можно успешно извлекать из окружающей нас цивилизации какие-то элементарные телесные удовольствия. А в остальном -- все это липа.

Липа, лабуда, ловкий трюк -- вот что такое наша жизнь между диафрагмой и черепным сводом. Правильно сказал настоятель: я страдаю от неизлечимой потребности понять. Я не хочу умереть, не поняв, зачем жил. А вы, скажите, вы испытывали когда-нибудь страх перед смертью?

Я молча копался в памяти, в самых далеких воспоминаниях, еще не выстроившихся в слова. И с трудом заговорил:

-- Да. Примерно в возрасте шести лет, когда услышал о мухах, кусающих людей во сне; кто-то пошутил, что, "когда просыпаешься, ты уже мертв". Эта фраза преследовала меня. Вечером, в темноте, я пытался представить себе смерть, когда "больше ничего нет"; я подавлял в своем воображении все, что составляло убранство моей жизни, и оказывался во все более тесных тисках тревоги: "я" больше не буду существовать, "я"... я, а что такое "я"? -- мне не удавалось уловить его, это "я" выскальзывало у меня из мыслей, как рыбка из рук слепого, и я не мог уснуть. Целых три года эти ночи недоумения в темноте повторялись более или менее часто. Потом, однажды ночью, мне пришла в голову замечательная мысль: вместо того чтобы отдаваться этой тревоге, попытаться понаблюдать за ней, посмотреть, когда она появляется, в чем, собственно, состоит. И тогда я понял, что она связана... с каким-то подергиванием в животе и еще немножечко под ребрами и в горле; я вспомнил, что у меня часто бывали ангины, попробовал расслабиться, не напрягать живот. Тревога ушла. Я попытался в этом состоянии опять подумать о смерти, и не тревога зацапала меня своими когтями, а захлестнуло какое-то совсем новое чувство, я не знал, как оно называется, но ощутил в нем что-то таинственное и обнадеживающее...

-- А потом вы выросли, стали учиться и начали философствовать, не так ли? Со всеми нами было то же самое. Похоже, что к отрочеству внутренняя жизнь юного существа вдруг становится безвольной, лишается своей природной

отваги. Мысль не осмеливается более встречать реальность или тайну лицом к лицу, она начинает смотреть на них сквозь мнения "взрослых", сквозь книги или лекции профессоров. И все-таки даже тогда остается недо конца убитый голос, он порой кричит, кричит всякий раз, когда ему это удастся, всякий раз, когда превратности существования немного ослабляют кляп во рту, кричит о своем недоумении, но мы тут же заглушаем этот голос. Вот так мы уже немного понимаем себя. Могу вам, стало быть, сказать, что я боюсь смерти. Не того, что воображают про смерть, потому что сам этот страх воображаемый. И не своей собственной смерти, дата которой будет указана в книге записей гражданского состояния. А той, которой подвергаюсь каждую минуту, смерти этого голоса, из глубины моего детства и меня, как и вас, спрашивающего: "А что я такое?", -- и все всегда в нас самих и вокруг нас, кажется, призвано задушить этот голос. Когда этот голос молчит, а говорит он ох как не часто, я -- пустой каркас, живой труп. Я боюсь, как бы он не замолк навсегда или не проснулся слишком поздно -- как в вашей истории про мух: когда просыпаешься, ты уже мертв. Ну вот, -- с каким то усилием выдохнул он. -- Я сказал вам главное. Все остальное -- детали. Много лет я ждал возможности сказать это кому-нибудь.

Он сел, и я понял, что, должно быть, у этого человека стальной разум, если ему удастся противостоять давлению кипящего в нем безумия. Теперь Соголь слегка расслабился, как будто испытывал облегчение.

-- Хорошие минуты у меня бывали, -- снова заговорил он, сменив позу, -- только летом, когда, надев ботинки с кошками и взяв рюкзак и ледоруб, я убегал в горы. Долгих отпусков у меня не было никогда, но уж зато как я использовал их! После десяти или одиннадцати месяцев, отданных улучшению пылесосов и синтетических духов, после ночи в поезде и дня в междугородном автобусе, когда мускулы еще забиты городскими ядами, завидя снежные поля, я,

бывало, рыдал, как идиот, голова -- пустая, весь словно пьяный, но сердце -- открыто. Через пару дней, распластавшись над расщелиной или взбираясь по гребню горы, я обретал себя, узнавал в себе тех, кого не встречал с прошлого лета. Но всегда это были все те же...

Впрочем, мне, как и вам, приходилось слышать и на лекциях, и в своих путешествиях о людях высшего типа, о тех, кто владеет ключами от всего того, что для нас -- тайна. И я не мог воспринимать как простую аллегория то, что где-то внутри видимого человечества есть и невидимое. опытом доказано, говорил я себе, что человек непосредственно и сам от себя не может узнать истину; необходимо, чтобы существовал какой-то посредник; с одной стороны, это должен быть человек, с другой -- он должен превосходить все человечество. Значит, где-то на нашей Земле должны жить эти люди высшего порядка, и совершенно недоступными они быть не могут. В таком случае, разве не обязан я отдать все силы поискам их? И даже если, несмотря на всю мою уверенность, я был жертвой чудовищной иллюзии, я все же ничего не терял, предпринимая эти усилия, ибо, как ни смотри, без такой надежды жизнь вообще лишена всяческого смысла.

Но где искать? С чего начинать? Я уже много постранствовал по свету, всюду совал свой нос, заглядывал во всевозможные религиозные секты и мистические школы, и каждый раз все было одно и то же: может, да, а может, и нет. И почему делать ставку, а ставка -- моя жизнь, на одну секту или школу, а не на другую? Вы же понимаете, пробного камня у меня не было. Но раз нас уже двое, все меняется: задача в два раза легче не становится, отнюдь, но: из невозможной она становится возможной. Как если бы для того, чтобы измерить расстояние от некой звезды до нашей планеты, вы назвали бы мне одну точку на поверхности земного шара: расчеты невозможны; но дайте мне вторую точку, и они становятся возможными, я ведь могу построить треугольник.

Этот резкий бросок в геометрию был вполне в его духе. Не знаю уж, понимал ли я толком, что он говорил, но в его речи была сила, убедившая меня.

-- Ваша статья о Горе Аналог меня воодушевила, -- заключил он. -- Она существует. Мы оба это знаем. Стало быть, мы ее найдем. Где? Тут уж дело за расчетами. Обещаю вам, что через несколько дней я определю ее местонахождение с точностью до нескольких градусов. И мы тут же отправимся, правда?

-- Да, но как? Каким путем, каким видом транспорта, с какими деньгами? И на сколько времени?

-- Это все детали. Впрочем, я уверен, что нас будет не двое. Два человека убеждают третьего, а дальше все обрастает, как снежный ком, хотя нельзя не считаться с тем, что люди называют "здравым смыслом", бедняги: их здравый смысл -- он подобен здоровому смыслу воды, состоящему в том, чтобы течь... пока ее не поставят на огонь, чтобы она закипела, или в морозилку, чтобы она замерзла. И все же, будем ковать железо, пока оно не раскалится, уж если не хватает огня. Наметим первый сбор на воскресенье здесь. У меня есть пятеро-шестеро друзей, которые придут наверняка. Один точно, он в Англии, двое других в Швейцарии, но они явятся сюда. Мы с ними раз и навсегда договорились друг без друга в большие походы не отправляться, а уж это будет всем походам поход!

-- Я со своей стороны, -- сказал я, -- тоже знаю нескольких человек, которые могли бы к нам присоединиться.

-- Так приглашайте их на четыре часа, а сами приходите раньше, к двум. Мои расчеты наверняка будут готовы... Что, вы уже должны меня покинуть? Ну ладно, выход здесь, -- сказал он, показывая на маленькое оконце, из которого свисал канат, -- лестницей только Физика пользуется. До свидания!

Я обмотался канатом -- он пропах травой и конюшной, -- и через несколько секунд оказался внизу, на улице.

У меня было какое-то странное ощущение, весь я был какой-то ватный и совсем неадекватный: поскользнулся на банановых шкурках, рассыпал помидоры, задевал плечами потных кумушек.

Если бы по дороге от Пассажа Патриархов до своей квартиры в квартале Сен-Жермен де Пре я попробовал осознать себя как прозрачного незнакомца, я мог бы открыть один из законов, определяющих поведение "двуногих бесперьевых, не способных к осознанию числа "Пи"", -- такое определение отец Соголь дал особям, к которым принадлежим и он, и вы, и я. Закон этот мог бы быть сформулирован так: "реагирование на последнее высказывание", но проводники, которые вели нас на Гору Аналог, позже растолковали мне этот закон и сформулировали его очень просто: "закон хамелеонства". Отец Соголь действительно убедил меня, и пока он говорил, я был вполне готов последовать за ним в его безумную экспедицию. Но, приближаясь к дому и обретая вновь свои старые привычки, я мысленно все четче представлял себе, как мои коллеги по службе, собратья-писатели, лучшие мои друзья слушают мой рассказ об удивительной беседе, которую я только что вел. Я воображал их иронию, скепсис, жалость ко мне. Я уже начал опасаться своей наивности и доверчивости... настолько, что, рассказывая жене о встрече с Соголем, как бы со стороны услышал, как говорю ей: "забавный человечек", "монах-расстрига", "немного тронутый изобретатель", "экстравагантный прожект"... И вдруг, когда закончил свой рассказ, изумившись, услышал от нее:

-- Ну что ж, он прав. Сегодня же вечером начинаю складываться. Вас уже не двое. Нас теперь трое.

-- Так ты воспринимаешь это всерьез?

-- Это первая серьезная идея, с которой я сталкиваюсь за всю свою

жизнь!

И сила закона хамелеонства оказалась так велика, что я снова стал считать затею отца Соголя и в самом деле совершенно разумной.

Глава вторая,

ОНА ЖЕ ГЛАВА ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ

Презентация приглашенных. -- Ораторский трюк. -- Постановка задачи. -- Недопустимые гипотезы. --До самого конца абсурдности. -- Неевклидова навигация в тарелке. -- Справочные астрономы. --Каким именно образом существует Гора Аналог, как если бы ее не существовало вовсе. -- Некоторая ясность относительно подлинной истории волшебника Мерлина. -- Привнесение метода в выдумку. -- Солнечные врата. -- Объяснение географической аномалии. -- Середина земель. --Деликатный подсчет. -- Спаситель миллиардеров. -- Поэтический изменник. --Дружелюбный изменник. --Восторженная изменница. -- Философичный изменник. --Предосторожности.

НАСТАЛО воскресенье;

в два часа пополудни я привел свою жену в "лабораторию" Пассажа Патриархов, а уже через полчаса для нас троих ничего невозможного просто не существовало.

ОТЕЦ СОГОЛЬ почти закончил свои таинственные расчеты, но решил отложить наше с ними знакомство до тех пор, пока не соберутся все приглашенные. А тем временем, в ожидании, мы решили описать друг другу тех, кого мы сюда вызвали.

С моей стороны это были:

ИВАН ЛАПС, от 35 до 40 лет, русский финского происхождения, выдающийся лингвист. Особенно выдающийся среди лингвистов, потому что способен выражать свои мысли (и устно, и письменно) просто, элегантно и правильно, и все это к тому же на трех или четырех разных языках. Автор "Языка языков" и "Сравнительной грамматики языков жестов". Невысокий бледный человечек с лысым яйцеобразным черепом, обрамленным черными волосами, с черными узкими раскосыми глазами, тонконосый, лицо гладко выбрито, рот немного печальный. Блестящий гляциолог, любит высокогорные стоянки.

АЛЬФОНС КАМАР, француз 50 лет, плодовитый и признанный поэт, бородатый, полногрудый, слегка (поверленовски) апатичный, что вполне искупается красивым и приятным голосом. Из-за печеночного заболевания долгие походы ему недоступны, и он утешается тем, что сочиняет красивые стихи про горы.

ЭМИЛЬ ГОРЖ, француз 25 лет, журналист; вкрадчивый, великосветский, без ума от музыки и хореографии, которых пишет блистательно. Виртуоз "отзыва каната", больше любит спуск, чем восхождение. Маленький, довольно странного сложения, худенький, но с пухлым лицом, полными губами и как бы почти без подбородка.

ДЖУДИТ ПАНКЕЙК, наконец; приятельница моей жены, американка лет тридцати, рисует высокогорные пейзажи. Впрочем, она единственная настоящая высокогорная пейзажистка из всех, кого я только знал. Она очень хорошо поняла, что вид с горных вершин не может восприниматься как натюрморт или обычный пейзаж. Ее полотна восхитительно передают круговую структуру пространства высокогорий. Она себя не считает "художницей". Рисует просто для того, чтобы "сохранить память" о восхождениях. Но делает это так творчески, так искусно, что на ее картинах создается искривленное пространство, потрясающим образом напоминающее те фрески, на которых религиозные художники былых времен пытались представить концентрические

круги небесных миров.

Со стороны отца Соголя (описание его же) приглашены были:

АРТУР БИВЕР, от 45 до 50 лет, врач, яхтсмен, альпинист -- стало быть, англичанин;

знает латинские названия, нравы и особенности всех высокогорных животных и растений на земном шаре. Счастлив только на высоте не меньше 15 000 футов. Он запретил мне рассказывать о том, с помощью чего, на вершине какого пика Гималаев и сколько времени он пробыл, потому что, как он сказал, "будучи врачом, джентльменом и настоящим альпинистом, славы боится, как чумы". Довольно крупный, ширококостный, волосы серебристо-золотые, бледнее, чем его бронзово-загорелое лицо, брови -- домиком, а губы изящно кривятся то в наивной, а то и в ироничной улыбке.

Два брата: ГАНС и КАРЛ -- их фамилия не называлась ни разу, -- примерно 25 и 28 -- соответственно -- лет, австрийцы, специалисты по акробатическим восхождениям. Оба -- блондины, но один -- скорее в овальном жанре, а другой -- прямоугольный. Как-то по-интеллигентному мускулисты, со стальными пальцами и орлиными взорами. Ганс изучает математическую физику и астрономию. Карл в основном интересуется восточной метафизикой.

Артур Бивер, Ганс и Карл -- эти трое были спутниками Соголя, о которых он мне рассказывал и которые вместе с ним составляли единую, нерасчленимую группу.

ЖЮЛИ БОНАСС, от 25 до 30 лет, бельгийка, актриса. С успехом выступала на сценах Парижа, Брюсселя и Женевы.

Была confidentкой тьмы безликих юнцов, которых она приобщала к высшей духовности. Жюли говорила "обожаю Ибсена" и "обожаю эклеры в шоколаде" одинаково убежденно, да так, что у вас тут же слюнки текли. Она верила в существование "феи ледников" и зимой много каталась на лыжах там, где были

подвесные канатные дороги.

БЕНИТО ЧИКОРИА, лет тридцати, парижский дамский портной. Невысокого роста кокетливый гегельянец. Хотя родом Бенито был из Италии, он принадлежал к той альпинистской школе, которую можно, не входя в детали, назвать "немецкой". Метод ее можно охарактеризовать так: атакуют самую неприступную сторону горы, идут через самые гнилые расщелины, там, где больше всего осыпей, и поднимаются прямо к вершине, не позволяя себе оглядываться по сторонам и искать более легкие подступы; в общем, многие гибнут, но в один или другой прекрасный день альпинистская связка родной страны все-таки завоевывает вершину.

Вместе с Соголем, моей женой и мной нас, таким образом, было двенадцать человек.

Приглашенные прибыли более или менее вовремя. Я хочу этим сказать, что, хотя встречу назначили на четыре часа, г-н Бивер пришел без четверти четыре, а Жюли Бонасс, последняя гостья -- хоть и задержалась из-за репетиции, -- явилась, когда часы едва пробили половину пятого.

После довольно шумного знакомства все уселись за большой высокий стол и хозяин дома взял слово. Он в общих чертах пересказал наш с ним разговор, подтвердил, что убежден в существовании Горы Аналог, и заявил, что собирается организовать экспедицию с целью ее изучения.

-- Большинству из вас, -- продолжал он, -- уже известно, каким образом я смог в первом приближении определить поле своих изысканий, но двое или трое еще не в курсе, и для них, а еще чтобы освежить кое-что в памяти других, хочу рассказать о том, как именно я пришел к некоторым своим заключениям.

И он бросил в мою сторону взгляд, одновременно лукавый и повелительный, призывающий меня к соучастию в этом ловком обмане. Потому что, конечно же,

никто вообще не знал ничего. Но благодаря этой простой хитрости у каждого создалось ощущение, что он -- один из немногих непосвященных, один из тех "двух-трех человек, которые не в курсе", а вокруг него -- большинство уже приобщенных к идее и принявших ее, так что и ему самому не терпелось быть в свою очередь посвященным. Этот способ Соголя -- как он позже охарактеризовал его мне -- "положить слушателей к себе в карман" был простым применением математического метода, состоящего в том, чтобы "рассматривать задачу как уже решенную", или, перепрыгивая в химию, "примером постепенной реакции". Но если эта хитрость послужила истине, можно ли назвать ее ложью? Словом, у всех были уши на макушке.

-- Итак, -- сказал он, -- резюмирую условия нашей задачи. Во-первых, Гора Аналог должна быть намного более высокой, чем все самые высокие горы, известные нам сегодня. Ее вершина должна быть недоступна для покорения всеми известными ныне способами. Но, во-вторых, основание горы должно быть нам доступно, и на отлогих скатах ее должны обитать человеческие существа, похожие на нас, ибо там пролегает путь, который в самом деле соединяет нашу нынешнюю среду обитания с высшими сферами. Раз там кто-то обитает, значит, этот край обитаем. А стало быть, представляет собой совокупность климатических условий, флоры, фауны, всяческих космических влияний, не слишком отличающихся от тех, что распространяются на наши континенты. И поскольку сама гора невероятно высока, основание ее должно быть достаточно широким, чтобы поддерживать ее: надо считать, что речь идет о таких больших земных поверхностях, как, скажем, самые крупные острова на нашей планете -- Новая Гвинея, Борнео, Мадагаскар, может, даже Австралия.

Исходя из всего этого, мы должны решить три вопроса. Каким образом эта территория ускользнула от внимания исследователей и путешественников? Как можно туда проникнуть? И где же она находится?

Отвечу сначала на первый вопрос, который может показаться самым трудным. Каким образом? Могла ли существовать на нашей земле гора выше всех гималайских вершин, а ее бы до сих пор не заметили? А ведь мы а priori, в силу законов аналогии, знаем, что она должна существовать. Для объяснения того факта, что она до сих пор не замечена, существует несколько гипотез. Прежде всего, она может быть расположена на южном континенте, и поныне малоизученном. Но, взяв карту, на которую нанесены уже изученные вершины этого континента, и определяя с помощью простого геометрического построения пространство, доступное человеческому взору с этих вершин, видим, что высота более восьми тысяч метров не могла остаться незамеченной -- как в этом районе, так и в любом другом на нашей планете.

Аргумент этот, с точки зрения географической науки, показался мне довольно-таки спорным. Но, к счастью, никто на это внимания не обратил.

И Соголь продолжил свою мысль.

--Так, стало быть, речь может идти о подземной горе? В некоторых легендах, бытующих в основном в Монголии и на Тибете, есть намек на некий подземный мир, местопребывание "Царя мира", где, подобно бессмертному семени, хранится традиционное знание. Но это местопребывание не соответствует второму условию существования Горы Аналог; биологическая среда не могла бы быть там достаточно близкой к нашей обычной среде обитания; и даже если этот подземный мир существует, вполне возможно, что располагается он именно в отрогах Горы Аналог. Поскольку же все гипотезы такого свойства неприемлемы, мы вынуждены подойти к проблеме с другой стороны. Искомая территория должна существовать в каком-то районе на поверхности нашей планеты; нужно, стало быть, изучить, при каких же условиях она может быть недоступна не только для кораблей, самолетов и любого другого вида транспорта, но и для взгляда. Я хочу сказать, что она вполне могла бы,

теоретически, существовать на середине этого стола, а мы о том и не догадывались бы.

Чтобы вы лучше поняли меня, позволю себе показать вам нечто аналогичное тому, что должно быть.

Он пошел в соседнюю комнату, принес оттуда тарелку и налил в нее постного масла. Порвал бумажку на мелкие кусочки и бросил их в тарелку.

Я взял масло, потому что эта вязкая жидкость более наглядна для примера, чем, скажем, вода. Эта маслянистая поверхность -- поверхность нашей планеты. Этот кусочек бумажки -- континент. Этот, еще меньший клочок, -- корабль. Острием тоненькой иголки я осторожно толкаю корабль к континенту; видите, мне не удастся загнать его туда. Как только он оказывается в нескольких миллиметрах от берега, его, похоже, отталкивает масляный круг, образовавшийся вокруг континента. Разумеется, подтолкнув корабль чуть сильнее, я загоняю его на континент. Но если бы поверхностное натяжение жидкости было достаточно велико, вы увидели бы, как мой корабль кружит вокруг континента, так и не прибываясь к нему. Представьте себе теперь, что эта невидимая маслянистая структура вокруг континента отталкивает не только так называемые "материальные" тела, но и лучи света. Навигатор на корабле будет кружить вокруг континента не только не касаясь, но даже не видя его. Эта аналогия слишком груба; оставим ее. С другой стороны, как вам известно, любое тело способно и в самом деле оказывать как бы отталкивающее воздействие на лучи света, которые на него попадают. Факт, теоретически предугаданный Эйнштейном, был проверен 30 мая 1919 года астрономами Эддингтоном и Кроммелином, воспользовавшимися для опыта солнечным затмением; они доказали, что какая-либо звезда может быть видна, даже если по отношению к нам она находится за солнечным диском. Это отклонение, вне всякого сомнения, минимально. Но ведь могут же существовать субстанции, еще

неизвестные -- неизвестные, впрочем, именно по этой причине, -- способные создать вокруг себя гораздо большее искривление пространства⁷ Так и должно быть, ибо это -- единственное возможное объяснение того факта, что человечество осталось до сего дня в неведении относительно Горы Аналог.

Вот что я установил, просто-напросто отринув все несостоятельные гипотезы. Где-то на Земле есть территория радиусом не меньше многих тысяч километров, над которой и возвышается Гора Аналог. Основание этой территории состоит из пород, у которых есть свойство искривлять пространство вокруг себя таким образом, что все сокрыто как бы в коконе этого искривленного пространства. Какого происхождения эти породы? Земного ли? А может, они происходят из тех центральных областей Земли, природу коих мы так мало знаем и о которой только и можем сказать, что, по свидетельствам геологов, она не может быть ни твердого, ни жидкого, ни газообразного свойства? Не знаю, но мы все это изучим на месте, раньше или позже. Впрочем, я смог установить путем умозаключений еще и тот факт, что так называемый кокон не может быть закрыт полностью, он должен быть открыт сверху, туда должна попадать и радиация самого разного свойства, излучение звезд, например, необходимое для жизни обычных людей; "кокон", к тому же, должен заключать в себе значительную массу нашей планеты и в силу подобной же причины быть открытым в сторону своего центра.

Он встал, чтобы что-то нарисовать на доске.

-- Вот как мы можем схематически представить себе это пространство; линии, которые я провожу, представляют собой (весьма примерно) траектории световых лучей; вы видите, что эти направляющие проникают в каком-то смысле в небо, где и соединяются с общим нашим космическим пространством. Это проникновение, по всей вероятности, происходит на такой высоте -- намного выше плотности атмосферы, -- что и думать нечего попасть в "кокон" сверху,

на самолете или воздушном шаре.

Если же теперь мы представим себе эту территорию горизонтально, у нас получится такая схема. Заметьте, что в самом районе Горы Аналог не должно быть никаких ощутимых космических аномалий, потому что там должна быть среда, подходящая для обитания таких существ, как мы. Речь идет о некоем кольце искривления, более или менее большом, в которое невозможно проникнуть, оно на некотором расстоянии окружает весь этот район невидимым валом, к которому нельзя прикоснуться; благодаря ему, в общем, все обстоит так, будто Горы Аналог не существует. Предположив -- я сейчас скажу вам почему, -- что искомая территория может быть островом, я рисую здесь путь, которым идет корабль из пункта А в пункт Б. Мы на этом корабле. В пункте Б есть маяк. Из пункта А я нацеливаю бинокль в направлении движения корабля; вижу маяк Б, свет его не попадает на Гору Аналог, и я нипочем не заподозрю, что между мной и маяком -- высокогорный остров. Я продолжаю свой путь. Искривление пространства настолько отклоняет свет звезд и магнитные силовые линии земли, что, пользуясь при навигации и секстантом, и компасом, я все равно буду уверен, что иду по прямой. Рулю и поворачиваться не надо, мой корабль, вместе со всем тем, что у него на борту, пойдет себе из А в Б маршрутом, который я прочертил на схеме. Так что остров мог бы быть величиной с Австралию -- теперь это понять нетрудно, -- а никто нипочем никогда бы все равно не заподозрил, что он существует. Понимаете? Мисс Панкейк даже побледнела от радости:

-- Да ведь это же история Мерлина в его волшебном круге! Я, впрочем, всегда была уверена, что дурацкую историю с Вивианой придумали уже задним числом сочинители, которые вообще перестали что-либо понимать. Это собственная природа Мерлина была такова, что он скрылся от нас за незримой оградой и может находиться где угодно.

Соголь на минуту замолк, всем своим видом показывая, что ему очень интересно замечание мисс Панкейк, высказанное ею по ходу дела.

-- Оно, конечно, все так, -- сказал тогда г-н Бивер, -- но ведь рано или поздно капитан непременно заметит, что истратил на путь из пункта А в пункт Б гораздо больше угля, чем рассчитывал.

-- Ни в коем разе, в искривленном пространстве пропорционально искривлению удлиняется и корабль. Это чистая математика. Машины удлиняются, каждый кусок угля тоже удлиняется...

-- А, я понял! То есть, действительно, получается все то же самое. Но в таком случае, как же вообще возможно попасть на остров, даже, предположим, если мы вычислим его географическое положение?

-- А это и есть второй вопрос, который надо было решить. Я справился с ним, используя, как всегда, метод, при котором задача рассматривается как уже решенная, и таким образом выводится следствие, логически из этой задачи вытекающее. Скажу вам, кстати, что принцип этот никогда, ни в одной области меня не подводил. Чтобы найти способ проникновения на остров, надо в принципе, как мы это уже сделали, предположить, что попасть туда возможно, и даже необходимо. Единственная приемлемая гипотеза состоит в том, что "кокон искривления", окружающий остров, не совсем -- то есть не всегда, не отовсюду и не для всех -- недостижим. В некий момент в некоем месте некие лица (те, кто знает и хочет) могут попасть туда. Лучший момент, которого мы ждем, должен определяться эталоном измерения времени, являющимся общим для Горы Аналог и всего остального мира; стало быть, какими-то природными часами и -- вполне возможно -- движением Солнца. Эта гипотеза надежно опирается на некоторые наблюдения, сделанные по аналогии, и ее подтверждает тот факт, что она порождает еще одну трудную задачу. Обратитесь к первой моей схеме. Видите, линии искривления уходят довольно высоко в небо. Каким же образом

солнце в своем суточном движении может постоянно, без перерывов, посылать свои лучи на остров? Нельзя не признать, что у солнца есть способность "раскривлять" пространство, окружающее остров. Стало быть, при своем восходе и своем закате, оно должно в каком-то смысле проделывать дыру в коконе, сквозь эту-то дыру мы туда и проникнем!

Потрясенные смелостью и невероятной логичностью этого вывода, все мы замерли. Все молчали, все были полностью согласны.

-- Однако же во всем этом есть для меня -- в теоретическом плане -- несколько непонятных мест; не могу сказать, что ясно представляю себе, какая именно связь существует между солнцем и Горой Аналог. Но в практическом смысле сомнений нет никаких. Надо только занять позиции на востоке или на западе Горы Аналог (только точно на западе или на востоке, если это момент солнцестояния) и ждать в зависимости от времени суток восхода или заката солнца. И вот тогда, в течение нескольких минут -- пока солнечный диск будет оставаться на линии горизонта, -- врата будут открыты и мы, еще раз повторю вам это, туда войдем!

Сейчас уже поздно. В другой раз (во время нашего похода, например) я объясню вам, почему войти можно именно с запада, а не с востока: причина, во-первых, символическая, а во-вторых, там -- сквозняк. Остается изучить третий вопрос: где расположен остров?

Воспользуемся тем же методом. Масса тяжелых пород, тех, что образуют гору и ее субструктуры, должна была непременно -- при различных движениях нашей планеты -- породить аномалии, которые не могли остаться незамеченными; аномалии эти, по моим подсчетам, более существенные, чем те, что наблюдались до сей поры. Однако же масса эта существует. Стало быть, невидимая аномалия земной поверхности должна быть компенсирована какой-то другой аномалией. В таком случае, у нас есть счастливая надежда, что именно эта, компенсаторная

аномалия заметна; заметна настолько, что даже бросалась в глаза геологам и географам. Я имею в виду странное распределение земель, выступающих на поверхность, т.е. суши и морей, которое в общем-то делит наш земной шар на "полушарие земель" и "полушарие морей".

Соголь взял с этажерки глобус и поставил его на стол.

-- Вот что, собственно, лежит в основе моих расчетов. Прежде всего я намечаю параллель -- между пятидесятым и пятьдесят вторым градусами северной широты. Наибольшая протяженность суши -- именно на этой широте; она пересекает юг Канады, затем весьма старый континент от юга Англии до острова Сахалин. А теперь я провожу меридиан, тоже пересекающий наибольшую поверхность суши. Он располагается между двадцатым и двадцать восьмым градусами восточной долготы и пересекает старый мир примерно от Шпицбергена до Южной Африки. Я оставляю этот зазор в восемь градусов, потому что Средиземное море можно рассматривать и как море в собственном смысле этого слова, и как простой морской анклав на континенте. Следуя некоторой традиции, надо было бы проводить этот меридиан строго по Большой пирамиде Хеопса. Но в принципе это не так уж и существенно. Эти две линии пересекаются, как вы видите, где-то в районе восточной Польши, на Украине или в Белоруссии, в четырехугольнике Варшава--Краков--Минск--Киев...

-- Восхитительно! -- воскликнул Чикория, портной-гегельянец. -- Я все понял! Поскольку искомый остров безусловно больше по площади, чем очерченный четырехугольник, эти приблизительные вычисления совершенно достаточны. Гора Аналог в таком случае находится в районе--антиподе этого, очерченного вами, то есть расположена она, подождите-ка, сейчас прикину... вот здесь, на юго-востоке от Тасмании и на юго-западе от Новой Зеландии, к востоку от Оклендских островов.

-- Рассуждение толковое, -- сказал Соголь, -- рассуждение, бесспорно,

толковое, но несколько поспешное. Это все было бы так, если бы плотность суши повсюду была одинаковой. Но предположим, что мы разрезали бы -- на рельефной планисфере -- все эти огромные массы континентальных пород и повесили бы все это на веревочке, крепящейся в центральном четырехугольнике. Можно предположить, что массы американских, евро-азиатских и африканских горных пород, в большинстве своем расположенные ниже пятидесятой широты, сильно перетянут планисферу в сторону юга. Вес Гималаев, гор в Монголии и африканских горных массивов одержит верх -- да, да, возможно и такое -- над американскими горами и изменит баланс в пользу востока, но точно я это смогу сказать вам только после некоторых, более подробных вычислений. Надо, стало быть, сильно сместить центр тяжести суши к югу или даже чуть-чуть к востоку. Это может привести нас на Балканы или прямо в Египет, а то и в Халдею, к библейским райским местам. Но не будем ничего предполагать. В любом случае Гора Аналог была и остается где-то в южной части тихоокеанского бассейна. Я прошу у вас еще несколько дней, чтобы окончательно привести в порядок свои расчеты. Затем нам понадобится некоторое время на подготовку -- как для того, чтобы отправиться в экспедицию, так и для того, чтобы каждый мог уладить свои собственные дела перед дальним походом. Предлагаю наметить отправление на первые числа октября; у нас останется целых два месяца -- таким образом, мы окажемся в южной части тихоокеанского бассейна в ноябре, то есть весной.

Остается утрясти кучу второстепенных, но довольно существенных проблем. Например, решить вопрос материально-технического оснащения экспедиции.

Артур Бивер быстро сказал:

-- Моя яхта "Невозможная" -- славное суденышко, она ходила в кругосветку, и доплывем мы на ней прекрасно. Что до денег, необходимых нам, так вместе как-нибудь разберемся, но уже теперь я уверен, что у нас будет

все, что нужно.

-- За такие добрые слова, дорогой Артур, -- сказал отец Соголь, -- вам положен титул "Спасителя миллиардеров". Ну и пусть нам предстоит огромная работа. Надо только, чтобы каждый из нас внес свою лепту. Давайте назначим, если вы не против, вторую нашу встречу на будущее воскресенье, в два часа. Я расскажу о своих последних расчетах, и мы наметим план действий.

Тут все пропустили по одному-другому стаканчику, выкурили по сигарете, и через слуховое окошко с помощью веревки каждый в задумчивости удалился своей дорогой.

В эту неделю не произошло ничего такого, о чем стоило бы непременно рассказать. За исключением, пожалуй, нескольких писем. Прежде всего о грустной записке поэта Альфонса Камара, который сожалел, что состояние его здоровья, по зрелом размышлении, не позволяет ему отправиться вместе с нами. Он, впрочем, хотел на свой лад принять участие в экспедиции и посему прислал мне несколько "Походных песен горцев", благодаря которым, по его утверждению, "он мысленно будет сопутствовать нам в этом восхитительном приключении". Песни у него были на самый разный лад и на все возможные в альпинистской жизни обстоятельства. Я вам процитирую ту, которая мне понравилась больше других, -- хотя, вне всякого сомнения, если вам незнакомы мелкие неприятности, о которых здесь идет речь, все это покажется страшно глупым. Это и впрямь глупо, но, как говорится, всякого жита должно быть по лопате.

ПЕЧАЛЬНАЯ ПЕСНЬ ГОРЕ-АЛЬПИНИСТОВ

Чай пахнет алюминием, и на троих -- один тюфяк, так, правда, было теплее, но на рассвете воздух злее и режет бритвой, не жалея, а ониушли

впотьмах.

Мои часы. остановились, твои как-то заблудились, все мы липкие от меда, над нами небо все в комках, мы вышли, раз уж день настал, камнями горы плакали и лед уже желтел; в руке холодной -- тяжесть, во фляге -- керосин, а канат замерз, ну чисто ерш колючий трубочиста.

Хижина была -- блоховник, храп стоял безжалостный, уши мои отморожены, на турпан похожа ты; мне карманов не хватило, в косточке чернослива компас твой мой все ж нашла; ножик свой позабыл я, но зато у тебя щетка есть, и какая!-- зубная она у тебя.

Двадцать пять тысяч часов восходим, а все еще будто внизу, шоколад гололедом мы заедаем, пробуя на зуб; пробуксовываем мы в сыре, что-то едкое есть в эфире, и в двух шагах ничего не видеть.

Постой чуть-чуть, себя побереги, смотри, как мой рюкзак резвится, мне сердце болью надрывая, он прыгает, стремится вниз; провалы, что-то булькает, и воздух черно-сиз; там -- железные дороги, на моренах --рюкзаки,

десять тысяч, -- ломать ноги приходите, дураки; правда, нет, не рюкзаки, это пропасти повсюду, да еще торчат оттуда гнусные подножки. Вот какой во мне хавос, дай мне на спину свой воз, будем очень осторожны с косточками черных слив.

Трещина ледника от смеха лопнет, провалимся мы до подбородка, вот и пространство в серых тонах; улуаром мы кошиблись, зубы свои о колени расшибли, жандармы к себе нас не подпускают; в памяти моей -- блок, консоль -- в желудке, жажда мучает целые сутки, а два пальца у меня синие, как незабудки.

И какая там вершина -- только баночка сардинок, наши отзывы заклинило -- развязывали вечность. А потом влетели в стадо коров. "Ну как прогулка, ничего?" -- "Чудесно, мсье, но трудно".

Кроме того, я получил письмо от Эмиля Горжа, журналиста. Он обещал одному своему приятелю приехать к нему в августе в Уазанс, чтобы одолеть спуск с центрального пика Мейже по южному скату -- известно, что камень, там брошенный, долетает до скалы за 5--6 секунд, -- после чего Горж должен был написать репортаж о Тироле, но не хотел, чтобы наше отправление откладывалось из-за него, к тому же, оставаясь в Париже, он был готов печатать в газетах все рассказы о путешествии, которые мы ему пришлем.

Соголь в свой черед получил очень длинное и взволнованное, проникновенное и патетическое послание от Жюли Бонасс, она разрывалась между желанием последовать за нами и жадной беззаветно служить своему Искусству; это была самая большая жертва, которую ревнивый бог Театра когда-либо требовал от нее... быть может, она бы и взбунтовалась, уступила бы своей эгоистической склонности, но что случилось бы с ее милыми молодыми друзьями, души которых она взялась опекать?

-- Ну как? -- сказал Соголь, прочитав мне это письмо. -- Слезами не обливаетесь? Вы так огрубели, что ваше сердце не тает, как восковая свеча? Что до меня, так мысль, что Жюли Бонасс еще, быть может, в сомнениях, взволновала меня настолько, что я тут же написал ей, чтобы она не колеблясь оставалась со своими душами и возвышенностями.

Ну и Бенито Чикория тоже написал Соголю. Внимательное изучение его письма, в котором было двенадцать страниц, привело нас к выводу, что он тоже решил не отправляться в поход. Его резоны были представлены серией "диалектических триад" поистине архитектурного порядка. Бесплезно излагать их вкратце; надо было бы воспроизвести всю его конструкцию, а это занятие опасное. Прочитую первую попавшуюся фразу: "Хотя триада возможное-невозможное-авантюра может рассматриваться как легко

феноменологизируемая, а стало быть, феноменологизирующая по отношению к первой онтологической триаде, она является таковой лишь при условии -- честно говоря, эпистемологическом -- диалектического *reversus'a*, предискурсивная сущность которого есть не что иное, как принятие исторической позиции, имплицитующее практическую реверсивность процесса, ориентированного онтологически, -- это имплицитованность, подтвердить которую могут только факты". Разумеется, разумеется.

В общем, четыре бздун, как в народе говорят. Нас осталось восемь. Соголь мне признался, что был готов к некоторой подлости. Именно поэтому он притворился во время нашего общего собрания, что не закончил расчеты, хотя они у него были сделаны. Он не хотел, чтобы точное местонахождение Горы Аналог было известно кому-нибудь кроме участников экспедиции. Позже мы убедимся, что предосторожности эти были в высшей степени разумны, и даже были недостаточными; если бы все в точности соответствовало выводам Соголя, если бы один момент не ускользнул от его внимания, эта недостаточная предосторожность могла привести к чудовищным катастрофам.

Глава третья,

ОНА ЖЕ ГЛАВА, РАССКАЗЫВАЮЩАЯ О ПУТЕШЕСТВИИ

Импровизированные матросы. -- Сами взялись за дело. -- Исторические и психологические подробности. - Измерение мощности человеческой мысли. -- Что все мы умеем считать не больше чем до четырех. -- Эксперименты в подтверждение этого факта. -- Наши припасы. -- Портативный огород. -- Искусственный симбиоз. -- Обогревающие устройства. -- Западные врата имморской бриз. -- Прощупывания. -- Легенда о людях-пустышках и Горькой розе. -- Вопрос валюты.

ДЕСЯТОГО октября мы погрузились на "Невозможную". Как вы помните, нас было восемь: Артур Бивер, владелец яхты; Пьер Соголь, глава экспедиции; Иван Лапе, лингвист; братья Ганс и Карл; Джудит Панкейк, живописец высокогорий; моя жена и я. Меж собой мы договорились, что никому из наших близких о подлинной цели экспедиции ничего не скажем: ведь либо все решат, что мы сумасшедшие, либо, что более вероятно, подумают, что мы рассказываем байки, чтобы скрыть настоящую цель нашего похода, насчет которой будут строить самые разные предположения. Мы объявили, что собираемся исследовать некоторые острова Океании, горы Борнео и австралийские Альпы. Каждый из нас сделал все распоряжения на случай длительного пребывания вне Европы.

Артур Бивер счел своим долгом предупредить экипаж яхты о том, что экспедиция будет очень продолжительной и, возможно, рискованной. Он уволил,

выплатив им приличное содержание, тех из своих людей, у кого были жены и дети, и оставил только трех, самых отчаянных, не считая капитана, ирландца, великолепного навигатора, для которого "Невозможная" стала его вторым телом. Мы, все восемь человек, решили сами заменить недостающих в команде матросов, что, впрочем, было лучшим способом интересно провести время в долгой экспедиции.

Мы вовсе не были созданы для того, чтобы стать моряками. Некоторые страдали морской болезнью. Те же, кто, только свесившись всем телом над ледниковой пропастью, полностью обретал себя, с большим трудом выносили длительное скольжение маленького кораблика по текучим склонам. На пути к самому высшему и желанному часто приходится преодолевать самое нежелательное.

Всякий раз, когда ветер благоприятствовал нам, яхта, у которой было две мачты, шла под парусом. Ганс и Карл в конце концов научились чувствовать воздух, ветер и парусину всем своим телом так же хорошо, как они ощущали скалу и веревку. Обе наши женщины совершали всевозможные чудеса, готовя еду, а отец Соголь при случае подменял "капитана", определял наше местоположение, делил обязанности, помогал нам ориентироваться на яхте и успевал за всем приглядывать. Артур Бивер драил палубу и следил за нашим здоровьем. Иван Лапе приобщился к механике, а я стал сносным помощником кочегара. Необходимость всем вместе напряженно работать связала нас друг с другом так тесно, словно мы были одной семьей, да еще такой, которая попадает не часто. В то же время мы представляли собой сборище самых разношерстных характеров и личностей, и, сказать по правде, Иван Лапе порой находил, что мисс Панкейк непоправимо бесчувственна к слову; Ганс исподлобья смотрел на меня всякий раз, когда я пытался высказываться по поводу наук, называемых "точными", и считал, что я отношусь к ним без должного уважения; Карл с

трудом выносил необходимость работать рядом с отцом Соголем, от которого, по его выражению, "пахло негром", когда тот потел; довольная физиономия доктора Бивера всякий раз, когда он ел селедку, вызывала у меня раздражение; но именно этот милый Бивер, и как врач, и как хозяин яхты, следил за тем, чтобы никакая зараза не разъела ни плоть, ни душу экспедиции. С какой-нибудь незлобивой шуткой он подоспевал всегда вовремя и как раз в тот момент, когда двое из нас приходили к убеждению, что другой не так ходит, не так говорит, не так дышит или ест.

Если бы я рассказывал эту историю, как обычно принято рассказывать истории или как каждый сам себе рассказывает свою историю, то есть говорит только о самых славных моментах и, опираясь на них, строит непрерывную воображаемую сюжетную линию, -- я бы оставил в тени эти незначительные подробности и написал бы, что все восемь барабанов наших сердец с утра до вечера и с вечера до утра звучали в унисон под палочками одного желания, -- или сочинил бы еще какое-нибудь вранье в том же роде. Но огонь, подогревающий желание и воспламеняющий мысль, никогда не горел больше нескольких секунд; все остальное время мы старались помнить о нем.

По счастью, трудности наших повседневных забот, когда у каждого был свой строгий круг обязанностей, напоминали нам о том, что все мы здесь -- по своей доброй воле, что все мы друг другу необходимы и находимся на яхте, иными словами, что обиталище наше -- временное, предназначенное для того, чтобы доставить нас куда-то; и если кто-то об этом забывал, другой тотчас напоминал ему.

По сему случаю отец Соголь рассказал нам, что некогда он провел опыт по измерению возможностей человеческой мысли. Я воспроизведу только то, что запомнил из его рассказа. В ту пору я сомневался, стоит ли все это воспринимать буквально, и, верный своему любимому занятию, восхищался в

Соголе его умением изобретать "абстрактные символы": вопреки обычно принятому пониманию, нечто абстрактное символизировало вполне конкретную вещь. Но позже я пришел к выводу, что эти представления об абстрактном и конкретном большого значения не имели, и, как я понял, читая Ксенофана Элейского или даже Шекспира, либо это нечто существует, либо его нет вообще. А Соголь, стало быть, решил "измерить мысль"; не в том смысле, в каком это понимают психотехники и те, кто манипулирует тестами: они ограничиваются сравнением способа, которым пользуется индивидуум в том или ином роде своей деятельности (впрочем, зачастую не имеющей никакого отношения к мысли), с тем способом, каким средний индивидуум того же возраста осуществляет тот же род деятельности. В нашем случае речь шла о возможности измерить мысль в ее абсолютном значении.

-- Эта возможность, -- говорил Соголь, -- чисто арифметическая. В самом деле, всякая мысль -- это способность разделить целое и осознать его частности; ведь числа -- не что иное, как разделенные части единства, то есть деления чего-то непременно целого. Наблюдая за собой и за другими, я заметил, сколько именно частностей человек может и в самом деле удержать в мыслях, не разлагая и не искажая их; сколько последовательных следствий из одного положения он может осознавать одновременно; сколько однородных включений, сколько звеньев от причины до следствия, от цели до способа; и никогда это число не было больше четырех. И даже больше того, цифра 4 соответствовала невероятным усилиям, на которые я не часто бывал способен. Если хотите, я проведу с вами несколько подобных опытов. Следите внимательно за тем, что я буду говорить.

Чтобы понять нижесказанное, необходимо самым добросовестным образом проделать предложенный эксперимент. Это потребует определенного внимания, терпения и спокойствия.

И Соголь продолжал:

-- 1) Я одеваюсь, чтобы выйти; 2) я выхожу, чтобы ехать на поезде; 3) я еду на поезде, чтобы добраться до своей работы; 4) я работаю, чтобы зарабатывать деньги на жизнь; попробуйте добавить пятое звено, и я уверен, что по крайней мере одно из первых трех ускользнет от вас.

Мы проделали этот опыт: так оно и оказалось -- и даже нас еще переоценили.

-- Возьмите для примера другой тип последовательности: 1) бульдог -- собака; 2) собаки -- млекопитающие; 3) млекопитающие -- позвоночные; 4) позвоночные -- животные; я иду еще дальше: животные -- живые существа... но вот я уже забыл про бульдога; если я напомню себе о "бульдоге", забуду о "позвоночных"... Во всех видах последовательностей или логических делений вы будете констатировать тот же феномен. Вот почему мы постоянно принимаем случайность за сущность, следствие за причину, способ за цель, наше судно за постоянное место жительства, наше тело и наш разум за самих себя, а самих себя -- за нечто вечное.

Трюмы маленького кораблика были наполнены провизией и самыми разными инструментами. Бивер подошел к проблеме запасов не только методично, но и изобретательно. Пяти тонн самых разных продуктов должно было хватить нам восьмерым и четверем членам команды для полноценного питания в течение двух лет, учитывая, что никакого пополнения во время пути не будет. Искусство пропитания -- очень важная составная часть альпинистской науки, и доктор поднял ее на недостижимую высоту. Бивер изобрел "портативный огород", весивший не больше полукилограмма; это был ящик из слюды, наполненный синтетической землей, где высевались отборные семена с поразительно быстрым произрастанием; в среднем через день каждое из этих устройств обеспечивало пищевой рацион зелени для одного человека -- и еще там выращивалось

несколько изумительных грибочков. Он также предпринял попытку воспользоваться современными методами тканевого культивирования (вместо того чтобы выращивать быков, можно заняться непосредственным культивированием бифштексов) -- но ему удалось создать лишь громоздкие и очень ненадежные установки, способные производить только нечто тошнотворное, и он от своих попыток отказался. Проще было вообще обойтись без мяса.

Зато, взяв себе в помощники Карла, Бивер значительно усовершенствовал дыхательные и обогревающие устройства, которыми он пользовался в Гималаях. Придуманно все было очень изобретательно. Маска из эластичной ткани плотно подгонялась к лицу. Выдыхаемый воздух по трубочке шел к "портативному огороду", где хлорофилл молодых побегов, стимулированный жестким ультрафиолетом, выделял углерод из углекислого газа и восполнял необходимый человеку дополнительный кислород. Деятельность легких и эластичность лицевой маски поддерживали легкий поддув, и устройство было отрегулировано таким образом, чтобы обеспечивать оптимальный процент углекислого газа во вдыхаемом воздухе. Растительность к тому же поглощала выдыхаемый водяной пар, и тепло дыхания усиливало ее рост. Так осуществлялся, для каждого индивидуально, растительно-животный биологический цикл, что позволяло значительно экономить продукты. Коротко говоря, реализовывался искусственный симбиоз животного и растительного. Остальные продукты были: мука, растительные жиры, сахар, сухие сыр и молоко.

Для высокогорий мы запаслись бутылками с кислородом и усовершенствованными аппаратами для дыхания. О ссорах, возникших по поводу этих устройств, и о том, какой они приняли оборот, я расскажу в свое время.

Доктор Бивер когда-то придумал одежду, обогреваемую внутри каталитическим сгоранием, но в результате проведенных опытов пришел к выводу, что хорошей одежды на пуху с надувной подкладкой, сохраняющей тепло

тела, вполне достаточно, чтобы передвигаться даже в самые большие холода. Обогревающие устройства были действительно необходимы нам только во время стоянок, да и тогда мы пользовались только теми же самыми, которые служили для приготовления пищи; эти плитки работают на нафталине, их легко переносить, на самой малой мощности они дают много тепла, хотя в специальной плите обеспечивается полное сгорание (а стало быть, и полное отсутствие запахов). И тем не менее, поскольку было совершенно неизвестно, на какие высоты поднимется наша научная экспедиция, мы на всякий случай прихватили с собой обогревающую одежду с двойной подкладкой из платинированного асбеста, в которую поддувался воздух вместе с парами спирта.

Ну и, конечно, мы взяли с собой все обычное снаряжение альпинистов: ботинки, подбитые железом, всевозможные крюки, веревки, кошки, молотки, карабины, ледорубы, крючья, снегоступы, лыжи и все, что с этим связано, не говоря о приборах для наблюдения, компасах, ватерпасах, альтиметрах, барометрах, термометрах, дальномерах, алидадах, фото- и других аппаратах. Ну и оружие: винтовки, карабины, револьверы, тесаки; взяли и динамит; в общем, все, чтобы быть готовым к встрече с любыми возможными препятствиями.

Соголь сам вел бортовой журнал. Я в морском деле человек слишком посторонний, чтобы рассказывать об инцидентах, случившихся во время навигации, да их, впрочем, было очень немного, и особого интереса они не представляют. Отправившись из Ла-Роше-ли, мы сделали стоянку на Азорских островах, потом на Гваделупе, в Колоне и, пройдя Панамский канал, на первой неделе ноября оказались в южных водах Тихого океана.

Именно в один из этих дней Соголь объяснил нам, почему мы должны подойти к невидимому континенту на закате и с запада, а не с востока, на рассвете: дело в том, что в это время, как в эксперименте Франклина с теплой комнатой, поток холодного воздуха с моря должен устремиться в нижние слои,

перегретые атмосферой Горы Аналог. Таким образом, нас должно было втянуть вовнутрь, тогда как на рассвете, с востока, нас бы сильно оттолкнуло.

Впрочем, подобный эффект мы могли только символически предвидеть.

Цивилизации в своем естественном движении к вырождению продвигаются с востока на запад. Чтобы вернуться к истокам, надо идти в обратном направлении.

Теперь, попав в район, который предположительно находился к западу от Горы Аналог, надо было действовать наугад, прощупывать обстановку. Мы шли на малой скорости и к моменту, когда солнечный диск вот-вот должен был коснуться горизонта, взяли курс на восток и ждали, едва дыша, в полном напряжении тараща глаза, пока солнце не исчезло совсем. Море было прекрасно. Но ожидание -- страшно трудным. Один день сменялся другим, и каждый вечер мы переживали эти несколько минут надежды и неизвестности. Порой казалось, что на борту "Невозможной" уже завелся червячок сомнения, и терпение наше иссякало. К счастью, Соголь предупредил, что эти наши "прощупывания" могут затянуться на месяц, а то и на два.

Держались мы неплохо. Часто, чтобы чем-то занять трудные часы после наступления сумерек, мы рассказывали друг другу всякие истории.

Помнится, однажды вечером мы заговорили о легендах, вдохновленных горами. Я сказал, что, на мой взгляд, фантастических легенд, связанных с высокогорьями, гораздо меньше, чем легенд о морях или лесах. Карл объяснил это на свой лад:

-- Для фантастического, -- говорил он, -- на высокогорьях просто нет места, настолько сама действительность там волшебнее всего, что способен вообразить себе человек. Ну можно ли мечтать о гномах и великанах, о гидрах или длинношеих подземных монстрах, которые могли бы соперничать с ледником, даже самым малюсеньким ледничком? Ведь ледники -- живые организмы: их состав

периодически обновляется, а форма остается почти такой же, как была. Ледник -- существо, сформированное очень органично: у него есть голова (это фирновый лед, с его помощью ледник пощипывает снег и проглатывает обломки скалы); голова эта отделена от корпуса ледниковой трещиной; потом у ледника есть огромный живот, где заканчивается превращение снега в лед, живот, изборозженный глубокими трещинами и канавками-каналами, выводящими избыток воды; а из нижней своей части он выбрасывает отходы пищи в форме морены. Жизнь его организована в ритмах времен года. Зимой он спит, а весной просыпается -- со скрипом и взрывами. Некоторые ледники сами воспроизводят себя, и процесс этот вовсе не такой примитивный, как у одноклеточных существ; происходит это либо при совмещении и плавлении, либо при отколе, порождающем то, что называют регенерирующими ледниками.

-- Я подозреваю, -- заговорил Ганс, -- что жизнь эта определяется скорее метафизически, чем научно. Питание живых существ происходит благодаря процессам химическим, тогда как ледниковая масса сохраняется физически и механически: замерзание и плавление, сжатие и растяжение.

-- Отлично, -- отвечал ему Карл, -- но вы, ученые, наблюдающие вирусы, способные кристаллизовываться, вы ведь действительно заняты изучением перехода физического состояния в химическое, а из химического -- в биологическое. И вы должны были бы многое почерпнуть, наблюдая за ледниками. Быть может, именно здесь природа сделала первую попытку создать живое существо исключительно физическим способом.

-- "Быть может", -- сказал Ганс, -- "быть может" -- это для меня ровно ничего не значит. А вот абсолютно точно только то, что в состав ледниковой субстанции углерод не входит, и, следовательно, это субстанция неорганическая.

Иван Лапе, любивший показать, как хорошо он знает все литературы на

свете, перебил его:

-- В любом случае Карл прав. Виктор Гюго--а даже в его время этот массив считался не очень высоким, -- вернувшись из Ригии, заметил, что, когда созерцаешь высокие вершины, вид этот сильно противоречит всему, к чему привык наш глаз, и противоречит настолько, что все естественное принимает там вид сверхъестественного. Он даже считал, что средний человеческий разум не способен вынести такого беспорядка в своем восприятии, и именно всем этим объяснял изобилие дебилов в альпийских районах.

-- Верно, верно, хотя последнее предположение -- чистейшая глупость, -- вступил в разговор Артур Бивер, -- вот и мисс Панкейк вчера вечером показала мне пару набросков к пейзажам высокогорий, которые подтверждают то, о чем вы говорите... Мисс Панкейк пролила чай из своей чашки и сделала еще какой-то неловкий жест, а Бивер тем временем продолжал:

-- Но вы ошибаетесь, утверждая, что с высокогорьями связано мало легенд. Мне доводилось слышать их, и попадались даже престранные. Правда, это было не в Европе.

-- Мы слушаем вас, -- тут же сказал Соголь.

-- Ну-ну, не так скоро, -- ответил Бивер. -- Я охотно расскажу вам одну из этих историй; поведавшие ее мне потребовали, чтобы я дал обещание не говорить, где родилась их легенда, да это, впрочем, и не важно. Но я хотел бы как можно точнее воспроизвести ее, и для этого мне нужно восстановить легенду в своей памяти на том языке, на котором я ее слышал, и еще мне потребуется помощь нашего друга Ивана Лапса, чтобы перевести ее для вас. Завтра к вечеру, если хотите, я вам эту легенду расскажу.

Назавтра после обеда, когда яхта легла в дрейф -- море было все так же спокойно, -- мы собрались послушать его историю. Обычно мы говорили между собой по-английски, иногда -- по-французски, все мы достаточно хорошо знали

оба языка. Иван Лапе предпочел перевести легенду на французский и сам прочитал ее нам.

Легенда О ЛЮДЯХ-ПУСТЫШКАХ И горькой РОЗЕ

Люди-пустышки в камне живут, там и передвигаются, каверны-путешественницы. Во льду они гуляют, пузыри будто люди, но на воздух выйти не отваживаются -- ветер их унесет.

В камне у них дома, стены -- из дырок сделаны и из щелей во льду, а лед сам -- из пузырей. Днем они в камне сидят, по ночам же во льду гуляют -- танцуют там в полнолуние. Но солнца они не видят, иначе бы лопнули сразу.

Едят пустоту, и только, едят они формы трупов, напиваются они в стельку, упиваясь пустыми словами, всеми теми пустыми словами, которые мы произносим.

Кто говорит, что они были всегда, всегда и пребудут вовеки, а кто-то считает их мертвецами. Иные же думают, что в горах у каждого живого есть двойник, подобно тому как ножны есть у меча, а у ступни -- отпечаток, след, и, умирая, каждый с двойником своим соединяется.

В деревне Сто-домов жил старый священник-волшебник Какзнат со своей женой Гули-Гули. И было у них два сына-близнеца, как две капли воды похожих друг на друга, которых звали Го и Мо. Сама мать путала их. Чтобы различать близнецов, в день, когда им давали имена, на шею Мо надели ожерелье с маленьким крестиком, а на шею Го -- ожерелье с маленьким колечком.

Старый Какзнат был страшно опечален, но никому не говорил об этом. По обычаю его наследником должен был стать старший сын. Но который из двух старший? И был ли у него старший сын?

К шестнадцати годам Мо и Го стали великолепными скалолазами. Их даже

звали "Братья -- нет преград". Однажды отец сказал им:

"Тому из вас, кто принесет Горькую розу, я передам великое знание".

Горькая роза растет на вершинах самых высоких пиков. У того, кто съел ее, как только он вознамерится сказать неправду, громко ли, тихо ли, сразу начинает жечь язык. Он еще способен солгать, но уже предупрежден. Несколько человек видели Горькую розу: судя по тому, что они рассказывают, она похожа на какой-то огромный многоцветный лишайник или на рой бабочек. Но никому не удавалось сорвать ее, потому что малейший страх, который всегда испытывает возле нее человек, вспугивает ее и она тут же прячется в скалу. А ведь даже если очень хочется заполучить Горькую розу, обладать ею всегда немножко боязно, и она сразу же исчезает.

Заводя речь о чем-то совершенно невозможном или о какой-нибудь нелепой затее, мы говорим: "Искать ночь среди бела дня" либо: "Осветить солнце, чтобы лучше его видеть" или еще: "Пытаться сорвать Горькую розу".

Мо взял веревки, молоток, топорик и железные крючья. Солнце застало его у склона пика Продырявь-облака. То ящерицей, то пауком поднимается он по высоким рыжим откосам меж белизны снегов и синей черноты неба. Быстрые облачка время от времени окутывают его, потом вдруг выпускают на свет. И вот, немного повыше, над собой, он видит Горькую розу, сверкающую цветами не из наших семи цветов. Он без конца повторяет волшебные слова, которым научил его отец и которые защищают от страха. Ему бы здесь пригодился штычок с веревочным стременем, чтобы вскочить на этого строптивного каменного коня. Он бьет молотком, и рука его проваливается в дыру. Под камнем -- пустота. Он проламывает верхний слой камня и видит, что эта пустота имеет форму человека: торс, ноги, руки и полости в форме пальцев, растопыренных, будто в ужасе, а молотком он ударил по голове.

На скалу налетает ледяной ветер. Мо убил человека-пустышку. Он

задрожал, и Горькая роза вернулась в свой камень.

Он спускается в деревню, он сейчас скажет отцу: "Я убил человека-пустышку. Но я видел Горькую розу и завтра пойду за ней".

Старый Какзнат мрачнеет. Он предвидит всю череду несчастий, которые обрушатся теперь на них. Он говорит: "Берегись людей-пустышек. Они захотят отомстить за своего мертвеца. В наш мир они войти не могут. Но на любой поверхности показаться способны. Остерегайся всего, что на поверхности".

Наутро, едва рассвело, Гули-Гули, мать близнецов, испустила страшный крик и побежала к горе. У подножия высокой рыжей стены лежали одежды Мо, его веревки, его молоток и его медальон с крестиком. А тела его больше не было.

-- Го, сын мой, -- закричала она, прибежав домой, -- сын мой, они убили твоего брата!

Го выпрямляется, зубы его стиснуты, голову словно обручем сковало. Он берет топорик и уже готов идти. Отец останавливает его:

-- Сначала выслушай меня. Вот что надобно сделать. Люди-пустышки забрали твоего брата. Они заменили им своего человека-пустышку. Он захочет сбежать от них. И пойдет искать свет к ледопаду у Хрустального ледника. Надень себе на шею и его медальон. Подойди к нему и ударь по голове. Войди в форму его тела. И Мо будет жить среди нас. Не бойся убить мертвеца.

Изо всех сил вглядывается Го в голубой лед Хрустального ледника. То ли это игра света, то ли у него плохо со зрением, то ли он действительно видит то, что видит. А видит он серебряные фигуры, будто пловцы маслянистые плывут в воде, и руки у них, и ноги есть. Вот и его брат Мо, его полая форма пытается сбежать отсюда, а тысяча людей-пустышек преследуют его, но они боятся света. Форма Мо стремится к свету, она поднимается в огромном голубом ледопаде и вертится туда-сюда, будто ищет дверь.

Го бросается вперед, хотя кровь его стынет в жилах, а сердце

разрывается на части, -- он говорит и своей крови, и своему сердцу: "Не бойся убить мертвеца" -- и бьет по голове, ломая лед. Форма Мо застывает в неподвижности, Го разбивает лед и входит в форму своего брата, как шпага входит в свои ножны, а ступня -- в свой след. Он шевелит локтями, расправляя плечи, вытаскивает ноги из ледяной формы. И слышит, что произносит слова на языке, на котором никогда не говорил. Он чувствует, что он -- Го и что он -- Мо одновременно. Все, что помнил Мо, теперь вошло в его память: и дорога к пику Продырявь-облака, и обиталище Горькой розы.

С колечком и крестиком на шее он приходит к Гули-Гули:

-- Мама, тебе больше не будет трудно различить нас -- Мо и Го теперь в одном теле, я -- твой единственный сын Мого.

Старый Какзнат проронил две слезинки, бы разрешить. Он говорит Мого:

-- Ты мой единственный сын, ни Го, ни Мо больше не нуждаются в том, чтобы отличаться.

Но Мого твердо сказал отцу:

-- Теперь я могу добраться до Горькой розы и сорвать ее. Мо знает дорогу, а Го знает, что нужно сделать. Победив страх, я овладею цветком здравомыслия.

Он сорвал цветок, ему было передано сокровенное знание, и старый Какзнат мог теперь покинуть этот мир.

Настал вечер, и солнце опять село, не открыв нам врата в другой мир.

Все эти долгие дни ожидания нас очень занимал еще один вопрос. В чужую страну не едут с пустыми руками, если хотят там что-то приобрести.

Путешественники обычно берут для обмена с "дикарями" или "туземцами", которые могут встретиться им, всякого рода барахло и хлам, ножички, зеркальца, парижские штучки, отбросы с конкурса курьезных изобретений, подтяжки и прищепки для носков, побрякушки, ткани для драпировки, кусочки

мыла, водку, старые ружья, безобидные боеприпасы, сахарин, кепки, расчески, табак, трубки, медальончики и веревки, я уж не говорю о всяческих крестиках и иконках. Поскольку во время путешествия, да и на самом континенте, нам могли встретиться нации, относящиеся к обычному человеческому роду, мы запаслись подобными товарами, которые могли бы стать нашей "валютой". Но что могло бы стать этой валютой при общении с высшими существами Горы Аналог? Что было у нас такого, что действительно могло быть ценным и для них? Чем могли бы мы заплатить за новое знание, которое мечтали обрести там? Придется ли нам его выпрашивать? А может, мы должны будем получить его в счет будущей расплаты?

Каждый из нас пересматривал все, что у него было, и день ото дня чувствовал себя все беднее и беднее, не находя ничего ни вокруг себя, ни в себе самом, что бы ему действительно принадлежало. И это было так серьезно, что в один прекрасный вечер мы оказались восемью несчастными мужчинами и женщинами, лишенными всего на свете и молча глядевшими, как солнце опускается за горизонт.

Глава четвертая,

В КОТОРОЙ МЫ ПРИБЫВАЕМ НА МЕСТО

И ПРОБЛЕМА ДЕНЕГ ПРЕДСТАЕТ ВО ВСЕЙ СВОЕЙ КОНКРЕТНОСТИ

Вот мы и добрались. -- Все новое и ничего удивительного. --Допрос. --
Устраиваемся в Обезьяньем порту. -- Старые корабли. -- Денежная система.
--Породам, эталон всех ценностей. -- Отчаявшиеся обитатели побережья. --Как
образовались колонии. -- Увлекательнейшие занятия. -- Метафизика,
социология, лингвистика. -- Флора, фауна и мифы. --Исследовательские и
изыскательские проекты. -- "Итак, когда же вы отправляетесь?" --Мерзкая
сова. -- Непредвиденный дождь. -- Упрощение снаряжения, как внешнего, так и
внутреннего. -- Первый породам!

ДОЛГОЕ ожидание встречи с неизвестным притупляет способность
изумляться. Вот только три дня прошло, как мы устроились в маленьком домике,
временном нашем жилище в Обезьяньем порту на побережье Горы Аналог, а все
нам уже здесь знакомо и привычно. Из своего окна я вижу "Невозможную",
стоящую на якоре в бухточке, и всю бухту, распахнутую до самого небосклона,
похожего на все морские небосклоны, с той только разницей, что линия
горизонта с перемещением солнца существенно поднимается с утра до полудня и
опускается от полудня до вечера благодаря какому-то оптическому феномену,
над которым в соседней комнате ломает голову Соголь. Поскольку мне было
поручено вести дневник экспедиции, я с самого рассвета пытаюсь изложить на
бумаге, как именно мы попали на Континент. И мне никак не удастся передать

это ощущение чего-то совершенно невероятного, и в то же время совершенно очевидного, эту ошеломительную скорость сменяющих друг друга впечатлений уже виденного... Я пробовал воспользоваться личными заметками своих спутников, и они, конечно же, пригодятся мне. Еще я рассчитывал на фотографии и фильмы, которые вызвались снимать Ганс и Карл; но при проявке никакого изображения на светочувствительном слое пленки не появилось: пользуясь обычной аппаратурой, сфотографировать здесь хоть что-нибудь невозможно -- еще одна головоломная оптическая задачка для Соголя.

Так вот, три дня тому назад, когда солнце уже готово было исчезнуть за горизонтом и мы уже повернулись к нему спинами, потянувшись к носовой части яхты, вдруг ни с того ни с сего поднялся сильный ветер, а скорее, какое-то мощное всасывание повлекло нас вперед; прямо перед нами образовалось некое пространство, какая-то бездонная пустота: горизонтальный водоворот, огромная воронка из воздуха и воды, невозможным образом закрученная кругами; все шпангоуты яхты трещали и хрустели, она неудержимо куда-то скользила, точнее, ее несло по наклонной плоскости к центру пропасти -- и вдруг яхта оказалась в просторной и спокойной бухте, она плавно качалась на волнах, а впереди виднелась земля! Берег был так недалеко, что мы смогли разглядеть дома и деревья, чуть выше -- поля, леса, луга, скалы, а еще выше -- на переднем и заднем плане -- размытые очертания высоких пиков и ледников, пламенеющих в сумеречном свете. Целая флотилия лодок, на каждой по десять гребцов -- безусловно, европейцев, обнаженных до пояса и загорелых, -- на буксире дотащила яхту до места стоянки. Очень похоже было, что нас ждали. Все здесь напоминало средиземноморский рыбацкий поселок. Чужими мы себя в этой обстановке не чувствовали. Командир флотилии молча отвел нас в белый домик, в совершенно пустую комнату, облицованную красной плиткой, где нас, сидя на ковре, принял человек в одежде, какую носят горцы. Безупречно говоря

по-французски, он иногда, словно про себя, улыбался, как человек, которому очень странно выговаривать то, что он вынужден произносить, чтобы быть понятым. Он безусловно переводил -- не задумываясь и не ошибаясь, -- но было видно, что он переводит. Он задавал нам вопросы, всем по очереди. Каждый из вопросов -- они, впрочем, были очень просты: кто мы такие? зачем мы здесь? -- застигал нас врасплох, въедался в печенки. Кто вы? Кто я? Мы не могли отвечать ему так, как отвечали бы представителю консульства или служащему таможи. Назвать свое имя, свою профессию? А что все это значит? Но кто ты? И что ты из себя представляешь? Слова, которые мы произносили -- других-то у нас не было, -- были безжизненными, омерзительными или смешными -- как кадавры. Отныне мы знали, что перед лицом проводника Горы Аналог слова наши больше ничего не стоят. Соголь отважно взял на себя труд коротко рассказать о нашем путешествии.

Человек, принимавший нас, конечно же, был проводником. В этой стране все представители власти -- горные проводники; и помимо основного своего назначения быть проводниками они по очереди исполняют административные обязанности, руководя жизнью в деревушках на побережье и в предгорье. Человек этот сообщил нам все, что полагалось, о стране, рассказав и о том, что нам предстоит. Мы высадились в маленьком прибрежном городке, населенном европейцами, по преимуществу французами. Коренных жителей здесь нет. Все, как и мы, откуда-нибудь да приехали, со всех концов света, и у каждой нации на побережье -- своя колония. Как получилось, что мы оказались именно в этом городе, носящем название Обезьяньего порта, где живут такие же, как мы, западные европейцы? Позже мы поняли, что произошло это не случайно: ветер, втянувший нас сюда, не был ни естественным, ни случайным: он дул, повинуюсь чьей-то воле. И откуда взялось это название -- Обезьяний порт, если ни единого четверорукого существа в окрестностях и близко не было? Уж не знаю

почему, но это наименование заставило меня вспомнить о всем своем наследии западного человека двадцатого столетия -- что было малоприятно, -- человека любопытного, подражателя, бесстыдного и суетного. Мы могли прибыть только в Обезьяний порт -- и никуда больше. Отсюда мы должны были сами добраться до хижин, расположенных на Базе, в двух днях пути по высокогорным пастбищам, и там встретиться с проводником, который сможет отвести нас гораздо выше. Так что нам предстояло задержаться еще на несколько дней в Обезьяньем порту, чтобы собрать вещи и снарядить караван носильщиков, потому что на Базу надо было унести довольно много провизии, чтобы ее хватило очень надолго. Нас отвели в маленький домик, очень чистый и весьма скудно обставленный, где у каждого было что-то вроде каморки, которую можно было обустроить по собственному вкусу, и еще общая комната с очагом; там мы ели, а по вечерам держали совет.

Из-за дома, поверх своего лесистого плеча на нас смотрел заснеженный пик. Перед нами открывался вид на порт, где в самой странной на свете морской флотилии спокойно стоял наш кораблик, последний из прибывших. В бухтах побережья строгими рядами стояли корабли всех времен и всех стран, самые старые заросли солью, водорослями и ракушками до такой степени, что их невозможно было узнать. Там стояли и финикийские лодки, и триремы, и галеры, каравеллы и шхуны, два колесных парохода и даже старый сторожевой корабль прошлого века, но вообще-то суда недавних эпох были довольно малочисленны. Что касается древних, то мы редко могли понять, какого они типа и из каких стран приплыли сюда. И все эти брошенные сооружения спокойно ждали, пока они совсем окаменеют или будут поглощены морскими флорой и фауной, поскольку разложение и дисперсия -- конечная цель любого неподвижного предмета, какому бы высокому назначению он раньше ни служил.

Первые два дня мы в основном были заняты тем, что переносили съестные

запасы и снаряжение с яхты в наш дом и проверяли сохранность всего этого, а также начали паковать грузы, которые надо было доставить в хижины на Базе в два этапа и не одним рейсом. Все вместе -- восемь человек, капитан и трое матросов -- мы проделали это довольно быстро. На первом этапе -- он должен был занять у нас один день -- существовала хорошая тропа, по которой мы могли провести здешних крупных и проворных бурых ослов, а вот дальше все придется тащить на себе. Стало быть, прежде всего требовалось нанять ослов и договориться с носильщиками. Денежный вопрос, так серьезно волновавший нас, был разрешен, по крайней мере временно, сразу по нашем приезде. Проводник, принимавший нас, вручил нам в качестве подъемных мешок металлических жетонов, служивших здесь расплатой за вещи и услуги. Как мы и предвидели, все, что у нас было, здесь никакой цены не имело. Каждый новоприбывший или группа прибывших получает таким образом некий аванс, позволяющий покрыть первые расходы, и обязуется вернуть его за время своего пребывания на континенте Горы Аналог. Но как его вернуть? Для этого существует несколько способов, и поскольку денежный вопрос лежит в основе всякого человеческого существования и жизни общества в колониях побережья, я должен дать кое-какие разъяснения по этому поводу.

Здесь встречается, очень редко в предгорье и чем выше, тем чаще, прозрачный камень очень высокой твердости, сферической формы и разной величины, настоящий кристалл, но -- случай невероятный и нигде больше на планете не известный -- кристалл кривой! На том французском, который в ходу в Обезьяньем порту, он называется перадам. Иван Лапе -- в полном недоумении по поводу происхождения и первичного смысла этого слова. По его мнению, он может обозначать "более твердый, чем алмаз", и так оно и есть; или же "отец алмазов", и говорят, что алмаз и в самом деле продукт перерождения перадама в результате некой квадратуры круга, а точнее, искривления сферы; или же это

слово значит "Адамов камень" и несет в себе некий тайный и глубокий смысл соответствия с происхождением человека. Прозрачность камня столь велика и его показатели преломления столь близки к воздушным, что, несмотря на большую плотность кристалла, глаз, непривычный к нему, едва его различает; но тому, кто ищет его, страстно желая найти и очень нуждаясь в нем, он открывается во всем своем сиянии, которое может сравниться с каплями росы.

Передам -- единственная субстанция, единственное

* Искж. франц.: "plus dure que le diamant".

** В оригинале: "pierre d'Adam". (Прим. перев)

материальное тело, за которым признают ценность проводники Горы Аналог. К тому же, вроде как у нас золото, он тут -- денежный эквивалент.

На самом деле, единственный законный и лучший способ возместить здесь свой долг -- это отдать его передамами. Но передам крайне редко встречается, а сбор и поиски его очень трудны, даже опасны, ибо частенько его приходится извлекать из трещины в откосе над пропастью или подбирать на краю расщелины, на склоне подвижного ледника, где он плотно застрял. И потому после множества попыток, затянувшихся порой на годы, люди, отчаявшись, спускаются на побережье и ищут там более легких способов для возмещения долга; он, собственно, может быть возвращен просто-напросто жетонами, и жетоны эти можно заработать самыми обычными способами: одни становятся земледельцами, другие -- ремесленниками, кто-то -- портовыми грузчиками, и не будем говорить о них худо, потому что именно благодаря им и возможно было перенести на место все наши припасы, нанять ослов и договориться с носильщиками.

-- А если кому-то не удастся вернуть свой долг? -- спросил Артур Бивер.

-- Когда вы выращиваете цыплят, -- было отвечено ему, -- вы даете им зерна, которые они должны возратить вам, став курицами и неся яйца. Но если курица, когда приходит время, не несет яиц, что с ней случается? И все мы молча сглотнули слюну.

Шел третий день нашего пребывания на Континенте; пока я писал эти заметки, Джудит Панкейк, сидя прямо на пороге дома, делала зарисовки, а Соголь из кожи вон лез, разгадывая трудные оптические загадки, остальные пятеро отправились кто куда. Моя жена пошла закупать провизию в сопровождении Ганса и Карла, тут же по дороге затеявших диалектическую баталию, за которой, похоже, было очень нелегко уследить; их интересовали сложнейшие метафизические и пара-математические проблемы: в основном речь шла об искривлении времени и чисел -- то есть существует ли абсолютный предел для всякого перечисления реальных и необычных предметов, за которым неожиданно обнаруживается единство (такого мнения придерживался Ганс) или совокупность (так считал Карл). В общем, явились они крайне разгоряченные и даже не почувствовали тех килограммов, которые тащили на своем горбу: овощи и фрукты, известные и неизвестные нам, ибо колонистам удалось развести здесь все виды и сорта их со всех континентов, а также молочные продукты, рыбу и всевозможную свежую снедь -- после долгого морского путешествия мы очень ей обрадовались. Мешок с жетонами был преогромный, и о тратах мы не беспокоились. А потом, как говорил Лапе, -- что нужно, то нужно.

Сам он прогулялся по городку и, болтая с каждым встречным-поперечным, изучал местную речь и здешнюю жизнь. Все это он очень увлекательно изложил нам, но то, что произошло между нами после обеда, отбивает у меня всякую охоту и возможность воспроизводить его рассказ. И все же я это сделаю! Нет у меня на то ни малейшего желания, но пишу-то я не для собственного удовольствия, а знать кое-какие подробности вам, может быть, и полезно.

Экономическая жизнь в Обезьяньем порту довольно простая, хотя и оживленная; такой, похоже, и должна была быть жизнь до наступления эры машин: в этом краю не допускается существование ни тепловых, ни электрических двигателей; всяческое использование электричества здесь запрещено, и в горной стране нас это изрядно удивило. Запрещены и взрывчатые вещества. В колонии -- в основном, как я уже говорил, французской -- есть свои церкви, свой муниципальный совет, своя полиция, но всякая власть осуществляется сверху, иными словами, ее представляют проводники высокогорий, они руководят муниципальной администрацией и полицией. Власть эта неоспорима и основана на владении перадами; так что люди, живущие на побережье, кроме жетонов, не имеют ничего; жетоны годятся для всяческого рода обменов, позволяют поддерживать телесную жизнь, но никакой реальной власти не дают. Еще раз повторю: не будем говорить дурно о людях, которые убоялись трудностей восхождения и довольствовались скромной жизнью на берегу и в прилегающих к побережью районах; их детям, по крайней мере, благодаря им, их первым усилиям, сделанным для того, чтобы оказаться здесь, не придется совершать долгое путешествие. Они рождаются уже на побережье Горы Аналог, менее подверженные пагубным влияниям вырождающихся культур, процветающих на наших континентах, они общаются с людьми высокогорий, и если у них возникает желание и пробуждается интеллект, они могут отправиться в великое путешествие прямо с того места, где их родители его прервали.

И все-таки основная часть населения имела, вероятно, иное происхождение. То были потомки невольников и моряков -- экипажей кораблей разных эпох, в самые дальние века снаряженных теми, кто искал Гору Аналог. Этим объяснялось, почему в колонии столь часто встречаются странные типы, в которых угадывается африканская или азиатская кровь и даже следы какой-нибудь исчезнувшей расы. Оставалось предположить -- поскольку женщины,

должно быть, редко встречались в экипажах былых времен, -- что природа, повинувшись своим гармоническим законам, мало-помалу восстановила равновесие полов благодаря какому-то буйному компенсаторному рождению девочек. Впрочем, во всем, что я здесь рассказываю, весьма много предположений.

Судя по тому, что рассказали Лапсу в Обезьяньем порту, жизнь в других колониях побережья очень похожа на здешнюю, за исключением того, что каждая нация и раса принесла сюда свои нравы и обычаи, свой язык. Однако с незапамятных первопоселенческих времен под влиянием проводников, у которых собственный особый язык, и несмотря на новые вкрапления, принесенные современными колонистами, языки претерпели своеобразные изменения, и французский в Обезьяньем порту, например, имеет много особенностей: тут и заимствования, и архаизмы, и совсем новые слова для обозначения новых предметов, таких, как перадам, о котором мы уже говорили. Эти особенности должны были найти свое объяснение позже, по мере нашего знакомства с языком самих проводников.

Артур Бивер тем временем изучал окрестную флору и фауну и, раздумываясь, возвращался из долгих походов по близлежащим деревенькам. Умеренный климат Обезьяньего порта благоприятствует жизни растений и животных наших стран, но встречаются и неизвестные особи. Среди них самые интересные -- древовидный вьюнок, прорастание и рост которого столь мощны, что его используют -- в качестве динамита замедленного действия -- для перемещения скал при проведении земляных работ и создания насыпей; самовоспламеняющийся ликопердон, огромный гриб-дождевик, взрывающийся и далеко выбрасывающий свои зрелые споры, которые через несколько часов, благодаря эффекту мощной ферментации, в одно мгновение возгораются; говорящий куст, довольно редко встречающаяся разновидность мимозы, плоды которого образуют резонаторы разнообразных форм, способные воспроизводить

все звуки человеческого голоса при трении о шелестящие листья и повторяющие как попугаи все слова, которые произносятся поблизости; многоножка-обруч, существо почти двухметровой длины, которое, свернувшись в кольцо, любит кататься на бешеной скорости сверху вниз по осыпающимся склонам; ящерица-циклоп, похожая на хамелеона, но лобовой глаз у нее всегда широко открыт, зато два других вообще атрофировались -- к животному этому здесь относятся с большим почтением, несмотря на то что похоже оно на старого геральдиста; упомянем, наконец, среди прочих гусеницу-воздухоплавательницу, разновидность шелковичного червя: в хорошую погоду она за несколько часов сильно раздувается благодаря легким газам, образующимся в ее кишечнике, и объемистый пузырь уносит гусеницу-аэронавта в воздух, до зрелого возраста она не доживает никогда и воспроизводится самым примитивным образом -- личиночным партеногенезом.

Были ли завезены эти странные особи в очень далекие времена колонистами, прибывавшими со всех концов нашей планеты, или действительно эти растения и животные -- коренные обитатели континента Горы Аналог? Бивер не мог разрешить этот спорный вопрос. Старый бретонец, осевший в Обезьяньем порту и ставший там столяром, пересказывал и даже напевал ему старинные мифы, в которых, похоже, многое смешалось со странными легендами и наставлениями проводников; все это имело отношение к интересующей нас проблеме. Проводники, которых мы позже расспрашивали о том, насколько серьезно надо относиться к этим мифам, всегда отвечали весьма уклончиво. "Они так же верны, как ваши волшебные сказки, -- сказал нам один из них, -- и ваши научные теории"; "Нож, -- сказал нам другой, -- ни настоящий и ни фальшивый, но тот, кто хватается его за лезвие, глубоко заблуждается".

Один из этих мифов звучал примерно так:

"В самом начале Сфера и Тетраэдр были соединены в одну форму --

немыслимую и невообразимую. Сосредоточение и распространение таинственным образом концентрировались единой Волей, которая знать не знала никого, кроме самой себя.

Затем последовало разъединение, но Единое осталось единым.

Сфера -- это первичный Человек, стремившийся осуществить независимо одно от другого все свои желания и возможности, и потому он расплылся, превратившись во все виды животных и существующих ныне людей.

Тетраэдр -- это первичное Растение, которое точно таким же образом превратилось во все виды растительности.

Животное, закрытое для внешнего пространства, образует полость внутри себя и разветвляется -- легкие, кишки, -- с тем чтобы получать питание, сохраняться и воспроизводиться. Растение, распускающееся во внешнем пространстве, образует полость снаружи, чтобы проникнуть в то, что его питает -- корни, листву.

Кое-какие потомки их засомневались: что же им выбрать -- или захотели усидеть на двух стульях, поставить на двух лошадей сразу; так появились животные-растения, населяющие моря.

Человек обрел вдохновение и свет, только он один получил этот свет. Он захотел видеть свой свет и наслаждаться жизнью во всех ее многочисленных формах. Силою Единства он был изгнан. Он, один-единственный, был изгнан.

И населил земли Вовне, мучаясь, разделяясь и размножаясь, одержимый желанием видеть собственный свет и наслаждаться жизнью.

Иногда человек подчиняется своему сердцу, подчиняет видимое провидимому и ищет путь для возврата к своим истокам.

Ищет, находит и возвращается к ним".

Благодаря странной геологической структуре континента на нем существовало множество самых разных климатов, и в трех днях ходьбы от

Обезьяньего порта можно было попасть в тропические джунгли, а отправившись в другую сторону -- в край ледников; где-то была степь, а еще где-то -- пустыня;

каждая колония образовывалась в самом подходящем для нее, похожем на родную землю месте.

Биверу все это надо было исследовать. Карл решил изучать в ближайшие дни азиатское происхождение мифов, с образчиками которых нас познакомил Бивер. Ганс и Соголь должны были устроить нечто вроде маленькой обсерватории на соседнем холме, откуда, ориентируясь по главным звездам в специфических условиях этого края, они смогут соотнестись с классическими измерениями параллаксов, угловыми расстояниями, прохождением меридиана, спектроскопией и всем прочим, чтобы получить точные данные об аномалиях, возникших в космической перспективе из-за завитка искривленного пространства, окружающего Гору Аналог. Иван Лапе хотел продолжить свои лингвистические и социологические изыскания. Моя жена горела желанием изучить здешнюю религиозную жизнь, изменения(а в особенности, как она предполагала, очищения и обогащения, произошедшие тут), привнесенные в различные верования под влиянием Горы Аналог, -- и в догматы, и в этику, и в литургическую музыку, в архитектуру и другие искусства, связанные с религией. Мисс Панкейк собиралась присоединиться к ней в том, что касается искусств, особенно пластических, по-прежнему намереваясь не оставлять своей огромной работы -- ее документальные зарисовки стали играть существенно более важную роль для экспедиции с тех пор, как все попытки фотографирования потерпели полный провал. Что до меня, то я надеялся почерпнуть во всех материалах, собранных таким образом моими спутниками, ценнейшую опору для своих исследований о символикe, не пренебрегая и основной работой -- редактированием нашего бортового журнала, того журнала, который должен был в конце концов

превратиться в повествование, кое вы сейчас и слышите.

Отдаваясь своим изысканиям, все мы в полном согласии собирались пополнить наши продовольственные запасы, сделать, возможно, и еще кое-какие дела -- короче, никоим образом не терять даром времени.

-- Так когда же вы отправляетесь? -- крикнул кто-то с дороги, пока мы после завтрака делились друг с другом своими захватывающими планами.

Это был проводник, присланный в Обезьяний порт; не дожидаясь нашего ответа, он продолжал свой путь, как и все горцы, будто бы не двигаясь вовсе.

Мы пробудились от грез. Стало быть, даже не сделав и первых шагов, мы уже катились к отречению -- да, к отречению, ибо отрекались от своей цели и предавали слово, данное себе, -- ни минуты не тратить на удовлетворение пустого любопытства. Наш исследовательский энтузиазм и ловко придуманные предлоги, которыми мы его прикрывали, вдруг показался нам страшно жалким. Мы не смели и в глаза друг другу поглядеть, и тут глухо прозвучал голос Соголя:

-- Пригвоздить эту мерзкую сову к дверям дома и отправляться в путь, не оборачиваясь!

Мы хорошо ее знали, эту алчную сову интеллекта, и у каждого была своя, каждому было кого пригвоздить к дверям, не считая еще нескольких болтливых сорок, воркующих голубей, гусынь, и каких раскормленных гусынь! Но все эти птицы так прочно укоренились в нас, так срослись с нашей плотью, что мы не могли вытащить их, не разодрав себе внутренностей. Надо было еще долго жить с ними, выстрадать их, узнать поближе, пока они не спадут с нас, как корки при сыпной лихорадке, отпадающие по мере того, как организм восстанавливается после болезни; раньше времени срывать их не стоит.

Четверо членов нашего экипажа играли в карты в тени сосны, и поскольку у них и в мыслях не было штурмовать вершины, такой способ времяпрепровождения, по сравнению с нашим, показался нам куда более

благоразумным. Но поскольку тем не менее им предстояло сопровождать нас на'Базу и помогать устроиться там, мы позвали их, чтобы вместе готовиться в путь, а наметили мы отправление на завтра, чего бы это ни стоило...

Легко сказать, чего бы это ни стоило... Наутро, после того как мы всю ночь, не разгибаясь, складывали вещи и все уже было готово, и ослы, и носильщики, вдруг полил проливной ливень. Дождь лил и после обеда, и всю ночь, он шел и на следующий день, лил как из ведра целых пять дней. Дороги развезло, и пройти по ним было практически невозможно -- это говорили нам все. Надо было с толком использовать отсрочку. Прежде всего мы пересмотрели свой багаж. Всевозможные приборы для наблюдения и разного рода измерительные, которые до сей поры мы считали наичценнейшими, вдруг стали смехотворными -- особенно после наших попыток что бы то ни было сфотографировать, -- а многие отныне вообще казались непригодными. Все батарейки наших электрических ламп уже сели. Надо было заменить их фонарями. Таким образом мы избавлялись от довольно большого количества громоздких предметов, что позволяло захватить с собой побольше провизии.

Итак, мы исходили всю округу, чтобы обеспечить себя дополнительными съестными припасами, фонарями и местной одеждой. Хотя и очень простая, одежда здесь и в самом деле намного удобнее нашей -- результат долгого экспериментирования первопоселенцев. Так же точно в специализированных лавочках мы нашли множество обезвоженных и спрессованных продуктов, в высшей степени необходимых нам в будущем. Отказываясь от одной вещи за другой, мы в конце концов оставили здесь даже "портативные огороды", изобретенные Бивером. После целого дня мрачнейших сомнений он разразился хохотом и заявил, что "все это -- глупые игрушки, которые доставили бы нам одни лишь неприятности". Он еще дольше колебался, думая, не отказаться ли и от дыхательных аппаратов и обогревающей одежды. Наконец было принято решение

оставить их здесь, пусть даже придется вернуться за ними, если это будет необходимо для новой попытки восхождения. Мы оставили все эти вещи под присмотром четырех членов нашего экипажа, которые должны были перенести их на яхту, где им предстояло поселиться после нашего отправления, так как дом надо было освободить для новоприбывающих, буде такие появятся. Мы много спорили о дыхательных аппаратах. На что нам рассчитывать, когда мы будем штурмовать высоты, на кислород в бутылках или на акклиматизацию? Последние экспедиции в Гималаи этого вопроса не разрешили, несмотря на блестящие успехи сторонников принципа акклиматизации. Впрочем, наши аппараты были много совершеннее тех, которые использовались в вышеупомянутых экспедициях; гораздо более легкие, они, главное, должны были оказаться более эффективными, потому что обеспечивали альпиниста не чистым кислородом, а тщательно дозированной смесью кислорода и углекислого газа; наличие углекислого газа, возбуждающе действующего на дыхательные центры, должно было существенно снизить количество необходимого для альпиниста кислорода. Но по мере того, как мы размышляли об этом и собирали сведения о природе гор, которые нам предстояло покорить, становилось все яснее, что экспедиция наша будет длительной, очень длительной; она непременно растянется на несколько лет. наших бутылок с кислородом все равно не хватит, и у нас не будет никакой возможности пополнить их наверху. Рано или поздно от них все равно придется отказаться, и лучше было сделать это сразу же, чтобы, пользуясь ими, не затягивать процесса акклиматизации. К тому же нас уверили, что, кроме постепенного привыкания, нет другого способа выжить в высокогорных здешних местах и что благодаря этому привыканию человеческий организм изменяется и приспосабливается в такой мере, что мы даже и вообразить себе этого не можем.

По совету главного нашего носильщика мы заменили свои лыжи, про которые

он сказал, что в каких-то местах они будут только мешать нам, на нечто вроде узеньких снегоступов, складных и обтянутых шкуркой зверя, похожего на сурка; главное их назначение -- облегчить ходьбу по мягкому снегу, но они еще и позволяют быстро скользить при спусках; в сложенном виде они легко помещаются в рюкзаки. Мы так и остались в своих "железных башмаках", но прихватили с собой, чтобы переобуться, когда поднимемся выше, местные мокасины из "деревянной кожи" -- это такой вид коры, которая после обработки состоит из пробки и каучука, подобная субстанция прекрасно отдает тепло и, насыщенная кремнеземом, почти так же хорошо сцепляется со льдом, как и с камнем, что позволит нам обойтись без кошек, которые опасны на очень больших высотах, потому что ремни от них, перетягивающие ступни, мешают кровообращению и способствуют обморожениям. Зато мы оставили при себе ледорубы, замечательные орудия, которые, как, например, косу, просто некуда дальше усовершенствовать, взяли свои штычки, шелковые веревки и все-таки прихватили кое-какие самые простые карманные приборы: компасы, альтиметры и термометры.

Так что очень кстати пришелся дождь, позволивший провести такие полезные реформы в нашей экипировке. Все эти дни мы очень много ходили под проливным дождем, собирая полезную информацию, покупая еду и самые разные вещи; благодаря этому наши ноги вновь обретали привычку ходить, немного утраченную за долгое время плавания.

Именно в эти дождливые дни мы стали обращаться друг к другу по именам. Началось все с привычки говорить "Ганс" и "Карл", и маленькое это изменение произошло не просто потому, что мы немного сблизились. Когда мы теперь называли друга Джудит, Рене (это моя жена), Пьер, Артур, Иван, Теодор (это мое имя), для каждого из нас здесь был и другой смысл.

Мы понемногу избавлялись от своих старых шкур, от тех персонажей,

которыми мы были. Оставляя на побережье громоздкие свои приспособления, мы готовились и к тому, чтобы отбросить художника, изобретателя, врача, эрудита, литератора. За маскарадными костюмами начинали проглядываться мужчины и женщины. Мужчины, женщины, а вместе с тем и самые разные виды животных.

Пьер Соголь в очередной раз подал нам пример -- сам не зная об этом и уж еще меньше думая о том, что становится поэтом. Как-то вечером, когда мы держали на пляже совет с нашим главным носильщиком и нашим погонщиком ослов, он сказал нам:

-- Я довел вас до этого места и был у вас за главного. Здесь я слагаю с себя корону, снимаю капитанскую фуражку с галунами, которая была для меня терновым венцом, сколько я себя помню. Из незамутненных глубин моей памяти восстает, пробуждается маленький ребенок, заставляющий рыдать маску старца. Маленький ребенок, который ищет отца и мать, который вместе с вами ищет помощи и защиты -- защиты от своих удовольствий и своих грез, помощи, чтобы стать тем, кто он есть, когда никому не подражает.

Произнося все это, Пьер концом палки рылся в песке. Вдруг он куда-то уставился, нагнулся и что-то поднял -- что-то, блестящее, как капелька росы. Это был перадам, совсем

крохотный перадам, но его первый и наш первый перадам.

Главный носильщик и погонщик ослов побледнели и широко раскрыли глаза. Оба были старики, некогда пробовавшие одолеть восхождение, оставившие свои попытки и отчаявшиеся из-за все той же денежной проблемы.

-- Никогда, -- сказал носильщик, -- никогда на памяти человеческой здесь, внизу, их никто не находил! Прямо на пляже! Быть может, это уникальный случай. Возможно ли, чтобы таким образом нам была дана новая надежда? Снова отправиться в путь?

Надежда, которая, как он считал, давно умерла, снова светилась в его сердце. Придет пора, и этот человек вновь отправится в путь. У погонщика ослов глаза тоже заблестели, но сверкали они алчностью.

-- Случай, -- сказал он, -- чистая случайность! Я на это больше не попадусь!

-- Надо будет, -- сказала Джудит, -- сшить маленькие, но очень прочные мешочки, мы будем носить их на шее и складывать туда перадамы, которые найдем.

Предусмотрительность и в самом деле необходимая. Дождь кончился еще накануне, солнце подсушивало дороги, завтра на рассвете надо было выходить. Перед сном каждый смастерил себе аккуратный мешочек для грядущих перадамов.

Глава пятая

ГУСТАЯ ночная тьма еще облепляла нас внизу, у подножия елей, а высокие вершины их уже вписывали свой красивый узор в перламутровое небо; чуть позже низко, среди стволов, загорелись красноватые пятнышки, и многим из нас открылся в небе вымытый голубой цвет глаз наших бабушек. Понемногу из черноты выплывала вся гамма зеленых цветов, и время от времени свежий аромат бука затмевал запах смолы и усиливал грибные запахи. Птички вели свои несерьезные утренние разговоры: то верещали как трещотки, то звенели серебром, то журчали как роднички, то в их пении звучал голос флейты. Мы шли молча. Караван наш был длинный: десять ослов, три погонщика и пятнадцать носильщиков. Каждый из нас нес себе пропитание на день и свои вещи. У некоторых была своя тяжелая ноша и на сердце, и на уме. Мы быстро наловчились ходить, как ходят горцы, и усвоили изнурительную тактику, которая необходима с первых шагов, если хочешь идти долго и не уставать. На ходу я перебирал в памяти события, приведшие меня сюда, -- начиная со статьи, которая появилась в журнале "Ископаемые", и первой своей встречи с Соголем. По счастью, ослы были приучены идти не слишком быстро; они напоминали мне тех, что я видел в Бигорре, и я без усталости смотрел на плавную игру их мускулов, никогда не перенапрягавшихся зазря. Я думал о тех четырех, струсивших, которые прислали нам свои извинения. Как далеко от нас они были, Жюли Бонасс, Эмиль Горж, Чикориа и этот славный Альфонс Камар со своими дорожными песнями! Это был уже другой мир. Вспомнив их, я сам с собой наедине расхохотался. Можно подумать, что в горах кто-нибудь поет на ходу!

Да, иногда поет, после того как несколько часов карабкается по осыпям или дерну, поет сам про себя, крепко сжав зубы. Я, например, пою:

"тяк! тяк! тяк! тяк!" -- один "тяк" на шаг; по снегу в полдень это звучит так- "тяк! чи-чи-тяк!" Или другая песня: "штум! ди-ди-штум!" -- или:

"джи... пуфф! джи... пуфф!" Я знаю только такой способ петь в горах.

Заснеженных вершин больше не было видно, только лесистые склоны, обрывающиеся известковыми отвесными скалами, да в глубине долин справа, среди просветов в лесу виднелся поток. За последним поворотом тропинки исчез и морской горизонт, поднимавшийся все выше и выше, по мере того как мы шли вверх. Я грыз сухарик. Осел, взмахнув хвостом, обрушил на меня целую тучу мух. Мои спутники тоже призадумались. Все-таки что-то загадочное было в той легкости, с которой мы попали на континент Горы Аналог; и потом, уж очень было похоже, что нас ждали. Я думаю, позже все объяснится. Бернар, главный среди носильщиков, тоже был задумчив не меньше нашего, однако не так часто, как мы, отвлекался. А нам и правда трудно было не отвлечься каждую минуту: то на голубую белочку, то на красноглазого горностаю, столбиком замиравшего посреди изумрудной полянки, где словно разбрызганы были кроваво-красные мухоморы, то на стадо единорогов -- мы поначалу приняли их за серн, они вспрыгивали на облысевший отрог другого косогора, -- то на летучую ящерицу, которая скакала прямо перед нами с одного дерева на другое, клацая зубами. Все нанятые нами люди, за исключением Бернара, несли на своих рюкзаках по маленькому луку, сделанному из рога, и по пучку коротких стрел без оперения. Во время первого же большого привала, незадолго до полудня, трое или четверо удалились и вернулись с несколькими куропатками и с тушей зверя, похожего на большого индийского кабана. Один из них сказал мне:

"Надо пользоваться моментом, пока охота разрешена. Мы съедим их сегодня вечером. Выше -- все, никакой для нас дичи не будет!"

Тропинка вела из лесу и спускалась мимо залитого солнцем крольчатника к потоку, несшемуся с шумным клокотаньем толпы; мы перешли его вброд. Всколыхнув с мокрого берега целые тучи перламутровых бабочек, мы начали свое долгое восхождение по щебню без намека на какую-нибудь тень. Потом мы снова вернулись на правый берег, где начинался довольно светлый лиственный лес. Я весь вспотел и пел свою дорожную песню. Вид у нас был все более и более задумчивый, хотя на самом деле думали мы все меньше и меньше. Наша дорога пролегла над высокой каменистой грядой и поворачивала направо, туда, где долина, сжимаясь, вела в узкое ущелье; затем она безжалостно извилисто карабкалась по склону пустоши, заросшей можжевельником и рододендронами. И наконец мы оказались на высокогорном, увлажненном тысячу ручейков пастбище, где паслись упитанные коровки. Двадцать минут ходьбы по затопленной траве -- и мы добрались до каменистого отрога, где роняли свою тень невысокие лиственницы и стояло несколько построек из сухого камня, крытых ветвями деревьев: первый этап нашего пути был закончен. У нас оставалось еще часа два-три до захода солнца, и мы могли спокойно устроиться здесь. Один из домиков, должно быть, предназначался для хранения нашего багажа, другой -- для ночевки: там были доски, свежая солома и печь, сложенная из крупных камней; третий -- к нашему великому изумлению -- оказался молочной: кувшины, полные молока, большие куски масла, сыры со слезой, казалось, ждали нас. Стало быть, здесь живут? Бернар первым делом приказал своим людям сложить луки и стрелы, а также и рогатки -- у многих были и они -- в углу помещения для жилья, специально отведенном для этого, а потом объяснил нам:

-- Еще утром тут кто-то жил. Здесь всегда кто-нибудь должен быть, чтобы смотреть за коровами. Впрочем, это закон, выше вам его объяснят: ни один лагерь нельзя оставлять больше чем на день. Предыдущая группа наверняка оставила здесь одного или двух человек, и они ждали нас, чтобы двинуться

дальше. Издалека увидев нас, они тут же ушли. Мы подтвердим им, что пришли сюда, а заодно я покажу вам, откуда идет тропа к Базе.

Несколько минут мы шли за ним широкой каменистой дорожкой над пропастью до площадки, откуда видна была долина. Она начиналась чем-то вроде ледникового цирка с выходом в глубокое ущелье, по высоким стенам которого с самых вершин то здесь, то там свисали языки ледника. Бернар разжег огонь, подбросил в него немного мокрой травы и стал внимательно смотреть в направлении ледникового цирка. Через несколько минут мы увидели, как очень далеко в ответ на сигнал появилась струйка белого дыма, почти неразличимая в мягкой пене водопадов.

В горах человек становится невероятно внимательным ко всякому знаку присутствия себе подобных. Но этот далекий дымок был особенно дорог нам, привет, посланный незнакомцами, шедшими перед нами тем же путем; путь этот отныне связывал воедино наши судьбы, даже если нам и не суждено было когда-нибудь встретиться. Бернар об этих людях не знал ничего.

С того места, где мы находились, можно было увидеть почти половину маршрута второго этапа. Мы решили, воспользовавшись хорошей погодой, отправиться завтра же поутру. Быть может, нам повезет и мы в этот же день встретимся на Базе с нашим проводником; хотя, возможно, нам придется подождать, пока он вернется из более или менее длительного похода. Мы уйдем все вместе, восьмером, со всеми нашими носильщиками, оставив только двоих, чтобы они приглядывали за коровами, пока погонщики ослов будут спускаться за очередными грузами. Как мы рассчитывали, за восемь переходов ослы перетащат все съестные припасы и необходимую одежду из дома на побережье Влажных Лугов -- так называлось место стоянки в конце первого этапа. Все это время вместе с носильщиками мы будем курсировать между Влажными Лугами и Базой; нам придется совершить по крайней мере тридцать ходок, нагружаясь по

десять-пятнадцать килограммов, и это отнимет у нас, если принять во внимание, что на какие-то дни выпадет и плохая погода, не меньше двух месяцев. Таким образом, на Базе у нас будет все для того, чтобы просуществовать больше двух лет. Но провести два месяца в "коровьих горах" -- самых молодых членов экспедиции эта перспектива несколько раздражала.

На нашей площадке было почти невозможно разговаривать из-за высокого и мощного водопада, грохотавшего в нескольких сотнях метров от нас. Пешеходные мостки, если это можно так назвать, были сделаны из трех или четырех канатов, переброшенных с одного берега на другой, они перекрывали ущелье, где низвергался водопад. Завтра утром нам предстояло пройти над ним. Прямо перед водопадом возвышалась пирамида, сложенная из камней и увенчанная крестом, -- придорожное распятие либо надгробный холм. Бернар смотрел в эту сторону, в его взгляде была какая-то странная значительность. Внезапно отвлечшись от своих мыслей, он повел нас обратно на стоянку, где носильщики должны были приготовить еду. И правда, благодаря их изобретательности нам почти не было нужды притрагиваться к своим запасам. По дороге они набрали великолепных шампиньонов и посрезали головки всяческих чертополохов, выросших среди щебня, и это было очень неплохо, как в сыром, так и в приготовленном виде. Дичь тоже пришлось по вкусу всем, кроме Бернара, который даже не захотел ее попробовать. Еще мы заметили, что он проверил, не трогал ли кто-нибудь из его людей лук или другое какое-то оружие с тех пор, как мы сюда прибыли. И только после еды -- при закате солнца, словно нимбами окружившего сияньем лесистые вершины в низовье, -- когда мы, сидя подле огня и переваривая пищу, попросили его рассказать о памятнике возле большого каскада, только тогда он открылся нам.

-- Мой брат... -- сказал он, -- я должен рассказать вам эту историю, потому как, быть может, мы с вами не так скоро расстанемся и вы должны

знать, с каким типом, -- тут он плюнул в костер, -- вы имеете дело.

Мои люди -- сущие дети! Они все жалуются, что охота отныне -- начиная с этого места -- строго-настрога запрещена. Здесь и в самом деле кругом полно дичи, и прекрасной! Но они там, наверху, знают, что делают, запрещая охотиться после того, как пройдешь Влажные Луга. Есть у них на то причины, я на собственной шкуре в этом убедился! Из-за крысы, которую я убил в пятидесяти шагах отсюда, я потерял четыре перадама, с таким трудом найденные и сбереженные, а после потерял еще и десять лет жизни.

Я родился в крестьянской семье, много сотен лет назад обосновавшейся в Обезьяньем порту. Многие из моих предков отправились наверх и стали проводниками. Но мои родители, боясь, что и я, их старший сын, тоже уйду, сделали все, чтобы уберечь меня от зова Горы. С этой целью они подтолкнули меня к очень ранней женитьбе; внизу у меня есть жена, которую я люблю, и сын, уже большой; он мог бы теперь пойти, и она тоже. После смерти родителей -- мне было тридцать пять лет -- я вдруг увидел всю пустоту этой жизни. И что же? Мне тоже придется продолжать воспитывать сына, чтобы и он в свой черед тоже воспитывал свое потомство, и так далее, и так далее, а зачем? Я, как видите, не очень-то ловко умею выражать свои мысли, а в то время еще меньше мог. Но это меня просто душило. И вот однажды я встретил проводника с высокогорья, который спустился ненадолго в Обезьяний порт; он пришел ко мне за провизией. Я набросился на него, стал трясти его за плечи и только и был способен выкрикивать: "Ну зачем, зачем?"

Он очень серьезно мне ответил: "В самом деле, это так. Но теперь вы должны подумать: каким образом?" Он очень долго говорил со мной и в тот день, и еще несколько дней подряд. В конце концов он назначил мне свидание следующей весной -- была осень -- в домике на Базе, где он собирал караван, в который обещал взять и меня. Я смог помочь брату решиться пойти со мной.

Он тоже хотел знать зачем и хотел вырваться из этой серой жизни в низших районах.

Наш караван -- а было нас двенадцать человек -- хорошо подготовился и вовремя успел добраться до первого лагеря, чтобы перезимовать там. Когда пришла весна, я решил снова спуститься вниз, в Обезьяний порт, чтобы повидаться с женой и сыном, надеясь, что подготовлю их к тому, чтобы и они отправились вместе со мной. Между шале на Базе и тем местом, где мы с вами находимся, я попал в страшный буран: дул сильный ветер, шел снег, и длилось это три дня. Снежные обвалы перекрыли дорогу в двадцати местах. Две ночи подряд мне пришлось спать под открытым небом, почти без еды и без топлива. Когда погода немного наладилась, я был в ста шагах отсюда. Изнуренный усталостью и голодом, я остановился. В ту пору скот во Влажные Луга еще не был поднят, так что ничего съестного я там найти не мог. На склоне осыпи прямо передо мной из своей норы вылезла старая крыса, живущая среди камней, что-то среднее между лесной мышью и сурком. Она вышла погреться в первых лучах солнца. Точно бросив камень, я отсек ей голову, подобрал ее и, собрав рододендроны, поджарил и сожрал это жесткое мясо. Придя в себя, я проспал час или два, а затем спустился в Обезьяний порт, где с женой и сыном мы отметили наше воссоединение после довольно долгого моего отсутствия. Мне, однако, и в тот год не удалось убедить их отправиться со мной наверх.

Месяцем позже, когда я вновь решился на восхождение, мне пришлось предстать перед судом: проводники потребовали, чтобы я ответил за убийство старой крысы. Как им удалось прознать об этой истории, я понятия не имею. Закон непреклонен: подъем в гору, за пределы Влажных Лугов, мне бы запрещен на три года. Через три года я мог попросить, чтобы меня взяли в первый же караван, но при условии, что я возмещу ущерб, то есть устраню последствия, которые могли иметь место из-за моего поступка. Это был тяжелый удар. Я

попытался наладить временную свою жизнь в Обезьяньем порту. Вместе с братом и сыном мы занялись обработкой земли и выращиванием скота, чтобы собрать провизию для каравана; организовать группы носильщиков, которые могли предложить свои услуги и дойти до запрещенного района. И так, продолжая зарабатывать себе на жизнь, мы сохраняли контакт с людьми Горы. Вскоре и моего брата, так же как и меня, охватила жажда отправиться в путь, эта жажда высоты, которая отравляет вас, словно ядом. Но он решил, что без меня не пойдет, и хотел дождаться истечения срока моего наказания.

И наконец этот день настал! Я гордо нес в клетке огромную крысу, живущую в камнях, которую легко поймал и намеревался по пути оставить в том месте, где убил другую, -- поскольку должен был "возместить нанесенный ущерб". Увы, последствия этого ущерба только лишь начинали проявляться. Когда мы уходили на восходе солнца с Влажных Лугов, раздался ужасающий грохот. Весь склон горы, который тогда еще не был рассечен большим водопадом, содрогался, взрывался и оплывал горами камней и грязи. Водопад, неся в себе глыбы льда и громадные обломки утеса, летел с ледникового языка, возвышавшегося над этим склоном, и прорывал себе дороги по склону горы. Тропа, которая поднималась в ту пору от выхода с Влажных Лугов и пролежала гораздо выше по склону, на очень большом протяжении была разрушена. Много дней подряд обвалы, выбросы воды и грязи, обрывы больших кусков земли следовали один за другим, и мы оказались заблокированными. Караван спустился в Обезьяний порт, чтобы экипироваться на случай непредвиденных опасностей, и стал искать новый путь к шале на Базе по другому берегу -- путь очень долгий, сомнительный и трудный, и на этом пути многие люди погибли. Мне восхождение запретили -- до той поры, пока комиссия проводников не установит причину катастрофы. Через неделю я предстал перед этой комиссией, которая объявила, что я -- виновник этого чудовищного бедствия и что во исполнение

первого приговора я должен устранить нанесенный ущерб.

Я был совершенно обескуражен. Но мне объяснили, что именно, согласно расследованию, произведенному комиссией, произошло. Вот что мне было объяснено: беспристрастно, объективно и, как я могу сегодня сказать, довольно доброжелательно, но весьма категорично. Старая крыса, которую я убил, в основном питалась осами, их в этих местах было очень много. Но крыса, живущая среди камней, в особенности' такая старая, не в состоянии поймать осу на лету; поэтому она ела только больных и немощных, передвигавшихся по земле и поднимавшихся в воздух с большим трудом. Таким образом крыса уничтожала ос-переносчиц всяких инфекций и микробов, которые, без ее неосознанного вмешательства, по наследству или заражая друг друга могли распространить в колониях этих насекомых опаснейшие заболевания. Когда крыса умерла, они распространились очень быстро, и к следующей весне во всей округе ос почти не осталось. А дело в том, что эти осы, собирая с цветов мед, способствовали их размножению. Без ос значительное количество растений, играющих большую роль в фиксации пльвунов,

ПРИМЕЧАНИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ИЗДАТЕЛЯ

По последним планам и рабочим заметкам Рене Домалья "Гора Аналог" должна была состоять из семи глав. Произведя гипотетическую, но возможную реконструкцию недостающей части повествования, мы решили опубликовать два документа, которые могут послужить "ключом".

Первый касается главы пятой. Он позволяет предположить, как именно заканчивается история Бернара, главного носильщика, и намечает две сюжетные линии, которые должны были быть рассмотрены: "послать пропитание предыдущему каравану" и "язык проводников". Поскольку воспроизвести этот документ иначе было невозможно, мы его переписали.

Второй приводится в виде факсимиле и представляет собой материал главы шестой; речь в ней шла о "другой экспедиции": о походе Альфонса Камара, Эмиля Горжа, Жюли Бонасс и Бенито Чикориа (см. гл. V, с. 2), который не мог закончиться ничем иным, кроме катастрофы, и главы седьмой, в которой Домаль, вполне возможно, хотел обратиться непосредственно к читателю:

Работая над "Горой Аналог", Рене Домаль писал между 1938-м и 1941--1942 годами и другие статьи, очень важные для понимания смысла "романа"; мы публикуем их здесь в хронологическом порядке.

Первый текст -- это начало "эссе об аналогическом альпинизме", задуманного задолго до написания "Горы Аналог". Второй состоит из нескольких вводных строк, которые, хотя и не претендуют на краткое изложение начала всей истории, позволяют читателю "войти" в нее, и тех строчек, в своем роде заключительных, которые показывают, как Рене Домаль намеревался "обрядить" эту правдоподобную историю, чтобы в нее можно было поверить". Они служат как бы рамкой для главы I, опубликованной в "Мезюр" (№ 1 от 15 января 1940 г.).

Третий и четвертый тексты касаются главы II и должны были представлять собой "Историю людей-пустышек и Горькой розы", которая была напечатана в "Кайе дю Сюд" (№ 239, октябрь 1941 г.).

Вступление. Эти заметки -- наблюдения дебютанта; поскольку они написаны по свежим следам и касаются только первых трудностей, с которыми сталкивается начинающий, они, быть может, в первых походах окажутся полезнее трактатов, написанных метрами, несомненно более методичных и полных, но недоступных для понимания, пока первоначальный опыт еще не накоплен: вся цель этих заметок -- помочь начинающему немного быстрее обрести этот первоначальный опыт.

Определения. Альпинизм -- это искусство ходить в горах, преодолевая самые большие опасности с наибольшей осторожностью.

Искусством здесь называется воплощение знания в действие.

На вершинах навечно не остаются. Надо спускаться вниз-Тогда зачем же? А вот зачем: высота знает низ, низ высоты не знает. Поднимаясь вверх, примечай хорошенько все трудности на своем пути; пока поднимаешься, тебе они видны. При спуске ты их больше не увидишь, но ты будешь знать, что они там есть, ты их хорошо разглядел.

Есть такое искусство -- ориентироваться внизу, помня о том, что ты видел, когда был наверху. Когда пересташь видеть, по крайней мере, можешь знать.

Я спрашивал: так что же это все-таки такое -- "аналогический альпинизм"?

-- это искусство...

-- а что такое искусство?

-- цена опасности:

{

безрассудство самоубийство.

по эту сторону--неудовлетворенность

-- что такое опасность?

-- что такое осторожность?

· что такое -- гора?

Не упускай из виду вершину, но не забывай смотреть и под ноги.

Последний шаг зависит от первого. Не думай, что ты уже одолел вершину, раз ты ее видишь. Смотри хорошенько под ноги, будь уверен в следующем своем шаге, но пусть это не отвлекает тебя от цели более высокой. Первый шаг зависит от последнего.

Отправившись в путешествие, оставляй след (зарубку) там, где проходишь, эти следы помогут тебе при возвращении: камень, положенный один на другой, трава, прибитая концом посоха. Но если ты дошел до непроходимого или опасного участка пути, подумай о тех, которые заблудятся, пойдя по твоим следам. Вернись тогда и уничтожь свои следы. Все это обращено к тому, кто хочет оставить в этом мире следы своего пребывания. Даже невольно, ты всегда оставляешь след. Будь в ответе за оставленный тобой след.

Никогда не останавливайся на склоне обвала. Даже если ты думаешь, что ноги крепко держат тебя, пока ты решил передохнуть и смотришь в небо, земля может потихоньку осыпаться у тебя под ногами, ты и не почувствуешь, как гравий уходит из-под тебя, и вдруг окажется, что ты летишь, как судно, спущенное на воду. Гора не упустит случая подставить тебе подножку.

Если ты, трижды спустившись и поднявшись кулуарами, оказываешься каждый раз у отвесной скалы (а видно это бывает только в последний момент) и ноги твои начинают дрожать от колен до лодыжек, зубы сжимаются так, что не разожмешь, доберись до какой-нибудь площадки, где ты можешь без опаски остановиться; призови в своей памяти все ругательства, какие только знаешь, и обрушь их на гору, плюй на нее, оскорбляй ее всеми возможными на свете способами, выпей глоток чего-нибудь, съешь что-нибудь и карабкайся снова, спокойно, медленно, словно у тебя вся жизнь впереди, чтобы выбраться из этой дурацкой ситуации. Вечером, когда перед сном ты вспомнишь об этом, то увидишь, что все было комедией: не с горой ты говорил, и не гору ты победил. Гора -- это глухая и бессердечная скала или кусок льда. Но эта комедия, быть может, спасла тебе жизнь.

Впрочем, часто в трудные моменты ты будешь замечать, что разговариваешь с горой, то льстишь ей, то оскорбляешь ее, и тебе покажется, что она тебе отвечает, если ты разговаривал с ней, как подобало, смягчившись, по/вдавшись ей. Не презирай себя за это, не стыдись вести себя так, как те люди, которых наши ученые называют первобытными или анимистами. Знай только, когда вспоминаешь об этих мгновениях, что диалог твой с природой был прообразом вне тебя того диалога, который шел внутри.

Обувь -- это не ноги, с ней не рождаются. Стало быть, ее можно выбрать. Пусть сначала твоим выбором руководят люди искушенные; потом тебе поможет твой собственный опыт. Ты очень быстро настолько привыкнешь к своим ботинкам, что каждый гвоздь будешь ощущать как свой палец, которым ты можешь ощупать скалу и зацепиться за нее; они станут надежными, и ты сможешь чувствовать благодаря им почву под собой, они станут частью тебя самого. И все-таки ты с ними не родился, и все-таки, когда они придут в негодность, ты выбросишь их -- и от этого не перестанешь быть самим собой.

Твоя жизнь в некоторой степени зависит от твоих ботинок; ухаживай за ними как следует, но на это хватит и четверти часа каждый день, ибо жизнь твоя зависит еще от многого другого.

Один из моих спутников, гораздо более меня искушенный, сказал мне: "Когда ноги отказываются нести вас, надо идти головой". И это правда. Быть может, это и не совсем в порядке вещей, но не лучше ли идти головой, чем думать ногами, как это часто случается?

Если ты поскользнулся и падение было не очень тяжелым, ни на минуту не нарушай ритма движения и, уже поднимаясь, набирай снова свой темп. Зафиксируй хорошенько в памяти все обстоятельства твоего падения, но не позволяй своему телу снова пережить это воспоминание. Тело всегда стремится обратить на себя твое внимание, дрожью ли, одышкой, сердцебиением, ознобом, испариной или судорогами. Но оно очень чувствительно к презрению или безразличию, которые выказывает ему хозяин. Если оно ощущает, что жалобы эти тебя не проняли, ты не попался на удочку, если оно понимает, что тебя ничем не разжалобишь, оно тут же возвращается в строй и спокойно выполняет свою задачу.

Момент опасности

Разница между паникой и присутствием духа

Автоматизм (властелин или слуга)

2

Я предпочел бы все вам рассказать прямо сейчас. Поскольку это заняло бы очень много времени, вот начало истории. Может, всегда есть коварство в том, чтобы рассказывать начало и конец истории, ведь мы понимаем только промежуточные фазы. Но в основе событий была встреча, всякая встреча в

каком-то смысле -- начало, а эта встреча в особенности несет в себе всю историю.

То, о чем я хочу рассказать, настолько невероятно, что я должен принять некоторые меры предосторожности. Чтобы преподавать анатомию, принято пользоваться условными схемами, а не фотографиями, которые со всех точек зрения отличаются от изучаемого предмета, соотношения -- те конкретно, что представляют собой вещь, которую надо узнать, -- сохраняются. Так же поступил и я.

Вот как зародился проект экспедиции к Горе Аналог. Раз уж я начал, надо рассказать, что было дальше: как было доказано, что континент, доселе неизвестный, с горами гораздо более высокими, чем Гималаи, существует на нашей Земле; почему его до сих пор не заметили, как мы добрались до него, с какими существами мы там познакомились; как именно другая экспедиция, преследующая другие цели, едва не погибла самым ужасающим образом; как мало-помалу мы начали укореняться, если можно так выразиться, в этом новом мире; и как все-таки это путешествие, едва только началось...

Очень высоко и очень далеко, над кругами все более высоких пиков и по ту сторону их, над снегами, становящимися все белее и белее, в ослепительном блеске, который глазу не по силам вынести, невидимая из-за этой чрезмерной ослепительности, возвышается вершина Горы Аналог. "Там, на вершине, которая острее самой тонкой иглы, -- тот, кто заполняет собой все пространства. Там, наверху, в самом хрупком воздухе, где все превращается в лед, продолжает существовать только он один -- кристалл бесконечной прочности. Там, наверху, в пылающем небе, где все сгорает, продолжает существовать только вечный навал. Там, в центре всего, -- тот, кто видит все свершения, видит и начало, и конец их". Вот что поют здесь, в горах. Так оно и есть. "Ты говоришь, так

оно и есть, но если становится чуть холоднее, сердце твое превращается в крота; если становится чуть теплее, голову твою наполняет туча мух, если ты проголодался, тело твое становится ослом, бесчувственным к палочным ударам, если ты устал, ноги твои сумеют постоять за себя!" Это еще одна песня, которую поют в горах, пока я пишу, пока придумываю, как именно обряжу эту правдоподобную историю, чтобы в нее можно было поверить.

3

Самые разные голоса еще были слышны. Был и тот, и другой выбор во всем том, что они говорили. Один рассказывал о человеке, который, спустившись с вершин, оказывается внизу и видит лишь свое непосредственное окружение. "Но у него есть воспоминание о том, что он видел, и это может помочь ему жить. Когда больше не можешь видеть, можешь знать; и ты способен свидетельствовать о том, что увидел". Другой говорил о ботинках, рассказывал, что каждый гвоздик, каждый крючок становится, как бы сказать, чувствительным, как палец, ощупывающий почву и цепляющийся за каждую неровность; "и все-таки это всего лишь ботинки, с ними не рождаются, и каждый день надо потратить четверть часа, чтобы содержать их в хорошем состоянии. Тогда как ноги -- с ними рождаются, и с ними и умрешь, по крайней мере, так все думают; но так ли это на самом деле? Разве нет ног, которые переживают тех, кому принадлежат, или, наоборот, умирают раньше своих хозяев?" (этому голосу я велел замолчать, он становился эсхатологичным). Еще один говорил об Олимпе и о Голгофе, четвертый -- о патологическом эритроцитозе и особенностях метаболизма у тех, кто обитает в горах. И еще один наконец заявил, что "мы ошибаемся, полагая, что очень мало легенд связано с высокогорьем, и что он, во всяком случае, знает одну замечательную легенду". Он еще добавил, что,

честно говоря, гора в этой легенде скорее декорация, а не символ и что подлинное место действия в этой истории -- "перекресток, где встречается человеческое сообщество с высшей культурой, то место, где увековечивается установленная истина". Страшно заинтригованный, я попросил рассказать мне эту историю. Вот она. Я выслушал ее и постараюсь со всем тщанием и точностью, на какие способен, ее воспроизвести -- я хочу сказать этим, что вы найдете здесь всего лишь бледное и приблизительное изложение.

4

В один из дней одного из августов я спускался из белоснежных, едких и труднопроходимых районов, где шел шквальный мелкий град и гремели бури. Я знал, что различные обстоятельства долго еще будут мешать мне вернуться в воздушные края с растрескавшимися гребнями, танцующими в открытом небе, с иллюзорными верхами и низами белых горных карнизов, прочерченных сверху в сизо-черной пропасти, обрушивающихся в разгаре безмолвного послеполудня; среди склонов с прорубленными кулуарами, сверкающих голым льдом, откуда идет обстрел и пахнет серой. Еще раз мне захотелось почуять зеленые ароматы расщелины, нащупать желоб, скользить между обваливающимися массивами, укрепить связки, оценить непостоянство порывов ветра, слушать, как звенит на льду сталь и как катятся маленькие хрустальные обломки к ловушке коварной ледниковой трещины -- приспособления для убийства, припудренного и задекорированного драгоценными камнями, -- прочертить дорожку в брильянтах и муке, довериться двум обрывкам пеньки и есть чернослив в центре космического пространства. Пересекая сверху вниз скатерть из облаков, я остановился у первых же камнемоков перед шквальным обвалом альпийского творага: гигантский шлейф с перламутровыми складками спиралью спускался к огромной пустыне

камней на дне пропасти.

Теперь мне предстояло долго оставаться внизу, валяться на диване или собирать цветы, засунув ледоруб под шкаф. Тогда я вспомнил, кто я, что по профессии своей я -- литератор. И что у меня есть прекрасная возможность использовать это ремесло по назначению, а именно -- говорить, а не действовать. Не в силах бегать по горам, я их воспою, оставаясь внизу. Должен признаться, что у меня такое намерение было. Но, по счастью, от него пошел дурной запах: запах той литературы, которая является крайним средством, запах слов, выстраиваемых в строчки для того, чтобы ничего не делать или утешаться, когда ничего больше не можешь.

Я стал думать более серьезно, с той тяжеловесностью и неловкостью, с какой поворачивается мысль, когда, победив скалу и лед, одерживаешь победу над своим телом. Я буду говорить не о горе, но с ее помощью. Говоря языком горы, я расскажу о другой горе, которая одна-единственная есть путь, связующий землю с небом, и буду говорить не для того, чтобы отступить, а для того, чтобы призвать.

И вся история -- моя история, вплоть до сегодняшнего дня, убранный в горные слова, -- предстала предо мной. Вся история, на которую уйдет много времени, чтобы ее рассказать; и еще мне понадобится время на то, чтобы прожить ее до конца*.

С группой друзей я отправлялся на поиски Горы, которая есть путь, связующий Землю с Небом, Горы, которая должна существовать где-то на нашей планете и должна быть местом обитания человечества более высокой организации, чем наше; это было доказано (и вполне основательно) тем, кого мы называли отцом Соголем, нашим старшим товарищем, более сведущим во всем, что касается гор, который был руководителем нашей экспедиции.

...И вот мы высадились на неизвестном континенте, ядре высших

субстанций, укорененных в земной коре, защищенном от любопытствующих и притязаний взглядов искривлением своего пространства -- подобно тому как капля ртути, благодаря своему поверхностному натяжению, неподвластна пальцу, пытающемуся проникнуть в ее сердцевину. Благодаря своим расчетам (забыв обо всем другом), благодаря своему желанию (оставив всякие другие чаяния), благодаря своим усилиям (отказавшись от всех удобств) -- мы одолели вход в этот новый мир. Так нам казалось. Но позже мы узнали, что смогли оказаться у подножия Горы Аналог, потому, что невидимые врата этой невидимой страны были открыты для нас теми, кто их охраняет. Петух, зычно кукарекающий в молочный рассветный час, думает, что его пение пробуждает к жизни солнце; ребенок, кричащий в закрытой комнате, думает, что от его крика открывается дверь; но и солнце, и мать идут своими путями, проложенными законами, определяющими их сущность. Это они открыли нам дверь, те, которые видят нас даже тогда, когда мы их не можем видеть, и в ответ на наши ребяческие расчеты, нестойкие желания и скромные и неловкие усилия оказывают нам великодушный прием.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Итак, в пятой главе "Горы Аналог", на середине фразы Рене Домаль остановился. Его обходительность не позволила ему просить подождать посетителя, постучавшегося к нему в дверь тем апрельским днем 1944 года. Это было последнее, что он написал.

Близкий его друг А. Роллан де Реневиль, который не мог не знать, что дни Домалья сочтены, придумал, как попросить его рассказать о дальнейшем развитии событий в романе. Реневиль сказал, что его жена Кассильда, прочитавшая все написанное, жаждет узнать, чем у них там все закончилось, -- и ждать у нее нет терпения. Со своей обычной озорной серьезностью Рене Домаль изложил краткое содержание того, что должно произойти:

"В пятой и шестой главах я собираюсь описать экспедицию, в которую отправилась четверка струсивших. Помните, в самом начале было еще четыре персонажа: Жюли Бонасс -- бельгийская актриса, Бенито Чикориа -- дамский портной, Эмиль Горж -- журналист и Альфонс Камар -- плодовитый поэт; все они дали задний ход еще до того, как мы начали всерьез собираться в путь. Однако в конце концов они, взяв в компанию еще нескольких друзей, решили организовать собственную экспедицию к Горе Аналог, так как были убеждены, что мы обдурили их: раз уж мы отправились открывать эту пресловутую гору, то не затем же, чтобы познакомиться там с высшей человеческой расой. Поэтому они и считали нас шутниками. Они думали, что гора непременно таит под собой нефть, золото или еще какие-нибудь сокровища, ревниво охраняемые людьми, которых непременно надо победить. И потому они снарядили настоящий военный корабль, оснастив его самым мощным и самым современным оборудованием, какое только могли сыскать, и снялись с якоря. Во время путешествия на их долю

выпало множество приключений; когда же они оказались в пределах видимости Горы Аналог, то собрались обрушить на нее всю свою огневую мощь. Но поскольку законы, действующие там, им были неведомы, они попали в водоворот. Обреченные на бесконечное и медленное вращение, они, конечно, могли бомбардировать побережье, но все их снаряды бумерангом обращались против них же самих. Участь их была смехотворна. В конце я хочу порассуждать об одном из основных законов Горы Аналог. Чтобы достичь вершины, ты должен совершать переходы от стоянки к стоянке. Но прежде чем отправиться к новому привалу, ты всякий раз, уходя, должен приуготовить тех, кто придет занять это место следом за тобой. И лишь приуготовив их, ты можешь подниматься выше. Вот почему, прежде чем отправиться к следующему привалу, мы должны были вернуться вниз, чтобы передать то, что мы узнали, другим искателям..."

Возможно, Рене Домаль прояснил бы, что он имел в виду, говоря об этих приуготовлениях. Потому что свою обыденную жизнь он посвятил тому, чтобы для трудного путешествия к Горе Аналог приуготовить множество умов.

Заглавие последней главы должно было быть таким:

"Ну а вы, что вы ищете?"

Вопрос этот более тревожен и более продуктивен, чем весь огромный свод ответов на него, это тот вопрос, на который каждый из нас в конце концов должен дать себе ответ. Прямо и отважно остаться один на один с этим вопросом -- значит нанести удар по тому существу, что спит глубоко на дне каждого из нас, а затем -- мучительно, но с полной ясностью сознания -- вслушиваться в звуки, которые оно посылает в ответ.

В конце своей короткой жизни, хоть он и был всего лишь на пороге собственных исканий, Рене Домаль уже мог распознать, где пустота, а где цельность и отзвук. И именно потому, что работа его была прервана, нам хотелось бы лучше понять ее и узнать, в каком направлении он двигался.

Однажды Рене Домалю представился случай в точных и сжатых формулах описать путь, который он видел перед собой. Эти слова звучат в одном из последних его писем ко мне:

"Таким образом я подытоживаю для себя то, что мне хочется передать работающим здесь вместе со мной:

Я мертв, потому что у меня нет устремления;

У меня нет устремления, потому что я думаю, что обладаю;

Я думаю, что обладаю, потому что не пытаюсь дать.

Пытаясь дать, понимаешь, что у тебя ничего нет;

Поняв, что у тебя ничего нет, пытаешься отдать себя;

Пытаясь отдать себя, понимаешь, что ты ничто;

Поняв, что ты ничто, ты стремишься стать;

Стремясь стать, ты начинаешь жить.

Вера Домаль

Популярность: 29, Last-modified: Thu, 20 Jul 2000 09:07:44 GMT